
Ирэн
Мор
Муж
по взаимно
18+

Ирэн Мор
Муж по взаимной ненависти

https://litres.ru/74716679
SelfPub; 2026

Аннотация

За две недели до свадьбы мой жених признался, что у него другая. Я лишилась будущего мужа, но не желания довести до конца хотя бы один идеально составленный план. Особенно когда моя больная бабушка уже выбрала платье и считает дни до церемонии.

Выход нашёлся там, где я меньше всего хотела его искать: у Джулиана Эшфорда. Богатого, невыносимо самоуверенного мужчины, которого я ненавижу ещё со школы. Ему срочно нужна безупречная репутация. Мне — жених, который явится к алтарю. Сделка выглядит почти разумной: настоящий брак, один год, раздельные финансы и ни единого чувства сверх оговорённого.

Есть только одна проблема. Джулиан слишком хорошо помнит, как вывести меня из себя. И слишком быстро учится делать всё остальное.

Я архитектор. Я знаю, что происходит со зданием, когда трескается фундамент. Но никто не предупредил меня, что самый опасный проект в моей жизни — брак с человеком, которому я поклялась никогда не доверять.

Содержание

ПРОЛОГ 4
Глава 1 11
Глава 2 21
Глава 3 31
Глава 4 42
Глава 5 55
Глава 6 68
Глава 7 81
Конец ознакомительного фрагмента. 87

Ирэн Мор
Муж по взаимной ненависти

ПРОЛОГ

ЭВЕЛИН

Если бы мне, тринадцатилетней, стоявшей в школьном туалете над раковиной и вымывавшей из волос овсянку, сказали, что через семнадцать лет я сама, без пистолета у виска, пойду к алтарю навстречу Джулиану Эшфорду, я бы не поверила. Нет, неправда. Я бы рассмеялась так громко, что последние комки каши шлёпнулись бы на кафель, а потом пошла бы к школьной медсестре выяснять, не подмешали ли мне чего-нибудь в яблочный сок.

В тридцать я шла к алтарю под руку с отцом, в платье цвета топлёного молока, и старалась не наступить на собственный подол. Зал я выбрала сама, ещё год назад: бывшая читальня старой бруклинской библиотеки с высокими окнами, лепным карнизом и потолком, который восстанавливала бригада, где я когда-то стажировалась. Я знала, где под свежей краской прячется трещина, которую так и не удалось до конца стянуть, и смотрела именно туда, на невидимый нико-

му шов, потому что смотреть вперёд не могла.

Впереди, у арки из белых пионов, стоял человек, который в седьмом классе подбросил мне в рюкзак дохлого голубя. Серого, окоченевшего, с поджатыми лапками. Я нашла его, когда полезла за учебником по биологии, а всю следующую неделю Джулиан проходил мимо моего шкафчика и негромко ворковал. Он же рассказал половине школы, что стипендию мне дали из жалости, а отец «чинит канализацию где-то в Бруклине». Папа обслуживал муниципальные здания и действительно умел починить что угодно, включая канализацию, и я до сих пор не понимаю, что в этом должно было быть стыдного. Это Джулиан опрокинул мне на голову тарелку овсянки посреди столовой, на глазах у трёхсот человек, и назвал это гуманитарной помощью. Трижды я находила в волосах жвачку. После третьего раза мама молча отвела меня к парикмахеру, и я вышла из салона с короткой стрижкой, открытой шеей и твёрдым решением, что ни одна моя слеза ему больше не достанется. А в семнадцать, когда я получала награду городского конкурса, он поднялся на сцену с микрофоном и с очаровательной улыбкой объяснил залу, что победу мне купили добрые покровители: девочка со стипендией на такое, конечно, не способна.

Конкурс я выиграла честно. Он занял второе место. Это я помню лучше, чем его лицо в тот вечер.

Мы оба были первыми учениками, каждый в своём классе, и школа обожала ставить нас рядом: на олимпиадах, на

дебатах, на фотографиях для попечительского совета. Пять лет я жила с ощущением, что за мной наблюдают из-за угла, и пять лет превращала каждую его гадость в лишнюю пятёрку. Ненависть оказалась отличным топливом. Тогда я ещё не знала, что однажды пойду к нему по проходу под нервного Пахельбеля в исполнении скрипачки из квартета, вцепившись в отцовский рукав, мокрый от моей ладони.

– Ещё можно развернуться, – тихо сказал папа, не поворачивая головы. – Машина стоит за углом. Я заправился.

– Ты заправился специально?

– Я человек предусмотрительный.

Я сжала его локоть, и он ответил – коротко и крепко стиснул мои пальцы, как делал, когда я была маленькой и мы переходили Флэтбуш-авеню. Он не уговаривал. Он просто оставлял дверь открытой, и от этой открытой двери у меня защипало в носу.

В первом ряду сидела бабушка Мэгги в сиреневом платье, с тростью, повешенной на спинку стула, и смотрела на меня так, будто я принесла ей пятёрку по черчению. Рядом, прямая, как линейка, сидела мама. Губы она сжала в нитку, и это выражение я знала с детства: так мама выглядела, когда соглашалась на что-то только потому, что любила меня сильнее, чем ненавидела ситуацию. По другую сторону прохода, в первом ряду Эшфордов, Вивиан в жемчужно-сером костюме дарила мне ровную, безупречную улыбку, после которой хотелось проверить, на месте ли кошелёк.

Шарлотта, моя лучшая подруга и подружка невесты, стояла у арки в изумрудном платье и поверх моего плеча корчила брату сложную рожу. Джулиан ответил едва заметным движением брови. Их семейным языком я владела не в совершенстве, но, судя по всему, это означало «я тебя убью после банкета», а ответ – «встань в очередь».

Я почти дошла до третьего ряда, когда услышала шёпот. Слева, со стороны гостей Эшфордов, оттуда, где сидела дама в шляпке размером с велосипедное колесо.

– …говорю тебе, это всё фиктивно. Две недели назад она…

Скрипка как раз взяла высокую ноту, и конец фразы утонул. Мне хватило одного слова. Оно вошло под рёбра, как гвоздь, я сбилась с шага, и папе пришлось придержать меня под руку. Я подумала о папке с договором в сейфе пентхауса, о списке правил, написанном моим почерком, о шести подписях, о юристе с усталыми глазами, который брал почасовую оплату и клялся молчать. Кто? Как? Если знает эта женщина в шляпке, то кто ещё? Бабушка сидела в двух метрах от меня. Бабушка с больным сердцем, которая ждала этого дня больше, чем я.

Последние шаги я сделала на чистом упрямстве.

Джулиан стоял у арки, высокий, тёмный, в смокинге, который сидел на нём так, будто его шили прямо на месте, пока он неподвижно стоял и злился. Волосы, обычно чуть небрежные, сегодня были уложены, и мне из вредности захотелось

растрепать их ладонью. С таким лицом в школе висят на доске почёта, а в деловых журналах – на развороте: резкие скулы, упрямый подбородок, рот, который слишком часто говорил гадости и слишком красиво при этом выглядел. Обычно в его серо-зелёных глазах сидела ленивая насмешка, будто весь мир был плохо сделанной презентацией, которую приходится досматривать из вежливости. Сегодня насмешки не было. Он смотрел серьёзно, почти тревожно, и это пугало меня сильнее любого сарказма.

Папа вложил мою руку в его ладонь. Пальцы у Джулиана были тёплые и сухие, а под моим большим пальцем оказался старый рубец на костяшке, шершавый и неровный. Я помнила, откуда он: в выпускном классе Джулиан разбил руку о хоккейный борт, и я тогда злорадно надеялась, что это правая и он не сможет писать контрольную по математике. Он смог. Получил высший балл.

– Ты держишь букет так, будто собираешься меня им ударить, – сказал он, наклонившись ровно настолько, чтобы не услышал первый ряд. От его низкого, чуть хриплого голоса во мне что-то раздражённо дёрнулось.

– Я ещё не решила.

– Решай быстрее, Паркер. На нас смотрят сто двадцать человек и моя мать. Моя мать считается за сорок.

– Кто-то знает, – прошептала я, почти не шевеля губами. – Женщина в шляпке. Третий ряд.

Я ждала, что он обернётся, выругается, сделает хоть что-

нибудь, что выдаст нас с головой. Он не сделал ничего. Только пальцы, державшие мою руку, сомкнулись чуть крепче.

– Смотри на меня, – сказал он.

– Я не хочу на тебя смотреть.

– Знаю. Всё равно смотри.

И я посмотрела. Это было неправильно и совершенно не по плану. Я стояла так близко, что видела тёмную кайму по краю его радужки и крошечный порез от бритвы под подбородком. Пахло его одеколоном, сухим, древесным, с горчинкой, и я знала, как этот запах меняется у основания шеи, где кожа теплее. Этому знанию нечего было делать у алтаря, перед бабушкой и Вивиан Эшфорд. Но оно стояло рядом со мной, наглое, как незваный гость, и Джулиан, кажется, прочитал его у меня на лице: взгляд на мгновение скользнул к моим губам и тут же вернулся, будто он сам себя одёрнул.

Регистратор раскрыл папку и откашлялся.

– Дорогие друзья, – торжественно начал он, и скрипка наконец замолчала.

В зале стало так тихо, что я услышала, как бабушка шуршит фантиком от мятной конфеты. Где-то позади женщина в шляпке наверняка уже наклонялась к соседке, чтобы договорить свою фразу. А я держала за руку своего школьного врага и чувствовала, как всё вокруг – лепнина, пионы, жемчуг Вивиан, мамина прямая спина – медленно клонится набок, словно старое здание, из которого кто-то потихоньку вынимает несущую балку.

За четырнадцать дней до этого я собиралась стать женой совсем другого человека. И наивно думала, что знаю, как выглядит катастрофа.

Глава 1

ЭВЕЛИН

За четырнадцать дней до свадьбы

Натан не снял ботинки.

За четыре года он ни разу не прошёл дальше коврика в обуви. Это была одна из тех мелочей, за которые я его и полюбила: он наклонялся, развязывал шнурки, ставил ботинки у двери пятка к пятке, ровно, как в витрине, и только потом целовал меня. Мама говорила, что мужчина, который так обращается с обувью, будет так же обращаться с ипотекой. В тот вечер он вошёл, закрыл дверь и остался стоять в прихожей прямо в ботинках, в расстёгнутой куртке, с ключами в руке, и я, сидя за кухонным столом среди разложенных карточек для рассадки, первым делом заметила именно это.

– Если ты пришёл ругаться из-за тёти Дениз, – сказала я, не поднимая головы, – то я её уже пересадила. Она теперь далеко от бара и ещё дальше от твоего дяди. Можешь меня поблагодарить.

Я ждала, что он засмеётся. Натан всегда смеялся над тётей Дениз, которая на всех семейных праздниках начинала с шампанского, а заканчивала рассказом о своём первом разводе. Но сейчас он только крутил на запястье кожаный ремешок часов, которые я подарила ему на прошлое Рождество, так, будто хотел их отвинтить.

– Эв, нам надо поговорить.

Я положила на стол карточку с бабушкиным именем, «Маргарет Паркер, стол № 1», выведенным каллиграфом по четыре доллара за штуку, и наконец посмотрела на него. Натан был красив той спокойной, надёжной красотой, которую не замечаешь сразу, а потом уже не можешь представить без неё свою кухню: светлые волосы, коротко подстриженные на висках, мягкий рот, голубые глаза, вечно усталые от экранов и таблиц. Сейчас эти глаза были красными.

– Говори, – сказала я.

– Может, ты сначала…

– Говори.

У него дёрнулся кадык.

– Я не могу на тебе жениться.

Странно, но я не почувствовала ничего. Совсем. Словно кто-то выключил звук, и я смотрела немой фильм про женщину за кухонным столом, у которой на коленях лежит схема рассадки на сто двадцать гостей. Женщина вежливо слушала. Женщина даже кивнула.

– Я встречаюсь с другой, – заторопился он, будто боялся, что если остановится, то не начнёт снова. – То есть… Я сплю с другой. С Джесс.

Джесс. Я помнила Джесс. Мы познакомились на корпоративе его компании в декабре: высокая брюнетка из его отдела, с отличными ногами и серёжками в виде маленьких золотых полумесяцев. Она похвалила мои серьги, я её. Мы минут

десять обсуждали, где в Бруклине можно найти приличный бейгл после полуночи, и по дороге домой я сказала Натану, что у него приятная коллега.

– Сколько? – спросила я.

– Что?

– Сколько времени, Натан. Мне нужна цифра.

– С весны.

– Весна длинная. С какого месяца?

Он отвёл глаза.

– С мая.

Четыре месяца. Я машинально посчитала назад, как считаю нагрузки на перекрытие, и цифра встала на место с неприятным щелчком. В мае у бабушки впервые случился приступ одышки прямо в очереди в аптеке. Мы с Натаном сидели в приёмной кардиологии в Methodist, он держал меня за руку, гладил большим пальцем мои костяшки и принёс из автомата горячий шоколад, потому что знал: в стрессе я не пью кофе. Я тогда подумала, что выхожу замуж за правильного человека. Выходило, что в том же самом месяце правильный человек уже знал, какого цвета бельё у Джесс.

– Я пытался это прекратить, – сказал он. – Честно, Эв. Несколько раз. Я думал, это пройдёт, что это просто… Я не знаю. Я тебя любил. Правда любил. Просто в какой-то момент всё стало каким-то… Как расписание. Ты вечно на объекте, у тебя то дедлайн, то надзор, то эта твоя церковь в Ред-Хуке…

– Стоп.

Я сама удивилась, как спокойно это прозвучало. Ровно и холодно – таким голосом я разговариваю с подрядчиками, которые пытаются заменить исторический кирпич дешёвым новоделом и выдать это за аутентичную кладку.

– Не надо, – сказала я. – Ты не будешь объяснять мне свою измену моими чертежами.

– Я не это имел в виду.

– Ты именно это имел в виду. Тебе очень нужно, чтобы я сейчас сказала: да, Натан, я сама виновата, слишком много работала, иди с миром, будь счастлив. Чтобы ты ушёл отсюда не подлецом, а просто человеком, которому не хватало внимания. Не скажу.

Он открыл рот и закрыл. А потом, к моему изумлению, заплакал. Не навзрыд, без всхлипов: просто покраснел нос, по щеке скатилась слеза, и он вытер её тыльной стороной ладони, как ребёнок. Я смотрела на это с чем-то вроде профессионального возмущения. Плакал он. Человек, который четыре месяца врал мне в глаза, стоял в моей прихожей и плакал, а я сидела с сухими глазами и держала карточку с бабушкиным именем, и это было настолько несправедливо, что мне захотелось швырнуть в него солонкой.

– Она знает про свадьбу? – спросила я.

– Да.

– И как она к этому относилась?

– Эв, зачем тебе…

– Мне интересно. Мы с ней обсуждали бейглы.

Он поморщился, будто я его ударила.

– Она говорила, что я должен тебе сказать. Давно говорила.

Значит, у Джесс было больше совести, чем у моего жениха. Открытие было таким нелепым, что я чуть не рассмеялась и прижала ладонь ко рту. Натан, кажется, принял этот жест за подавленное рыдание и шагнул ко мне. Я подняла руку, и он остановился.

– Квартира, – сказала я.

В августе мы подписали договор аренды на двухкомнатную квартиру в Парк-Слоуп, с эркером и раковиной, в которую можно поставить нормальную кастрюлю. Въезжать собирались после медового месяца. Я уже знала, куда встанет мой чертёжный стол.

– Я её оставлю, – быстро сказал он, с облегчением, будто наконец нашёл вопрос, на который знает ответ. – Сам буду платить. Поговорю с арендодателем, тебя выпишут из договора, ты ничего не будешь должна.

– Письменно.

– Что?

– Пусть арендодатель освободит меня письменно, Натан. Тебе я больше не доверяю.

Это попало. Я видела, как он дёрнулся и как опустились у него плечи. Легче мне не стало. Мне стало никак.

– Уходи, пожалуйста, – сказала я.

Он постоял ещё немного, глядя на стол: на разложенные по номерам карточки, на распечатку меню, где я своей рукой вычеркнула ризотто и вписала короткие рёбрышки, потому что их любит папа. Потом посмотрел на меня, и я поняла, что он собирается обнять меня на прощание, по старой привычке, и что если он это сделает, я сломаюсь прямо при нём.

– Ты так и не снял ботинки, – сказала я. – Значит, знал, что ненадолго.

Он вышел. Дверь закрылась тихо, без хлопка. Натан никогда не хлопал дверьми.

Какое-то время я сидела неподвижно и смотрела на дверь. Потом, сама не понимая зачем, взяла следующую карточку из стопки и положила на стол номер два. «Лора и Томас Паркер». Потом следующую: «Шарлотта Эшфорд», стол номер один, рядом с бабушкой, потому что только Шарлотта умела проигрывать бабушке в джин-рамми так, чтобы та не заметила подвоха. Руки аккуратно и методично раскладывали гостей на свадьбу, которой не будет, а какая-то часть меня наблюдала за ними с холодным интересом. Я дошла до конца стопки и взяла последнюю карточку. «Натан Рид». Плотный кремовый картон, тиснёный край, буквы с изящными завитками. Четыре доллара.

Я разорвала её пополам, потом ещё раз и ещё, пока клочки не стали такими мелкими, что рвать было уже нечего, и тогда звук включился обратно.

Я не помню, как оказалась в спальне. Помню, что открыла

шкаф, где в длинном белом чехле висело платье, и расстегнула молнию, просто чтобы посмотреть. Платье было простое, цвета топлёного молока, с открытыми плечами и рядом крошечных пуговиц на спине, которые мама, разумеется, назвала «издевательством над женихом». Я выбрала его, потому что в нём можно было танцевать и потому что бабушка, увидев меня в нём в салоне, сказала: «Ну вот. Вот теперь я спокойна». И тут меня согнуло. Я съехала по дверце шкафа на пол, между платьем и зимними ботинками, обхватила колени и завыла в них, некрасиво, громко, с соплями и икотой, так, что за стеной неуверенно гавкнула соседская собака. Я плакала не только о Натане. О воскресных утрах, когда он пересаливал яичницу и делал вид, что так и задумано. О том, что он знал про корицу в моём кофе. О горячем шоколаде из автомата в кардиологии. О том, что теперь я не могу вспомнить ни одного его «задержусь на работе», не представив полумесяцы в ушах Джесс. Он не просто ушёл. Он забрал с собой четыре года и переписал их задним числом, и каждое тёплое воспоминание, к которому я тянулась, оказывалось с двойным дном.

Где-то посреди этого, когда слёзы кончились и осталась только мерзкая сухая дрожь в груди, всплыла подленькая мысль: а если бы я меньше работала? Если бы не брала надзор за той церковью, если бы чаще оставалась у него, если бы… Я поймала её за хвост, как таракана, и рассмотрела внимательно. В пятнадцать лет, после третьей жвачки в во-

лосах, я сидела в парикмахерском кресле, смотрела, как на пол падают мои длинные пряди, и тоже думала: может, дело во мне? Может, если бы я не тянула руку на каждом уроке, не обгоняла Джулиана Эшфорда в рейтинге, не носила дурацкую клетчатую юбку, он бы оставил меня в покое? Парикмахерша развернула кресло к зеркалу, я увидела девочку с короткой стрижкой, открытой шеей и упрямыми глазами и очень ясно поняла, что дело было не в моих волосах. Дело было в руке, которая кидала жвачку.

Я встала, умылась холодной водой, высморкалась в бумажное полотенце и застегнула молнию на чехле, не глядя на платье. Было десять минут второго. Я сидела на краю кровати в мятой рубашке, с распухшим лицом, и составляла в голове список, потому что списки всегда меня спасали. Позвонить родителям. Нет, не ночью. Утром. Сказать маме, что всё в порядке, просто свадьбы не будет. Как будто такое можно произнести одной фразой и не услышать в ответ, как мама вызывает такси, чтобы ехать бить Натана сковородкой. Отменить зал. Квартет. Торт, флориста, фотографа, лимузин, который мне вообще не был нужен, но очень хотелось тёте Дениз. Сто двадцать человек. Год ожидания.

Телефон на тумбочке коротко завибрировал, и я вздрогнула, будто он мог сообщить что-то ещё хуже. Письмо от Рене, нашего организатора, неутомимой женщины, которая, кажется, вообще не спала и отвечала в любое время суток с цветочками-эмодзи.

«Эвелин, привет! Напоминаю: последний платёж за зал до пятницы, флорист подтверждает белые пионы (ура!), и мне нужна финальная рассадка к среде. Две недели, дорогая! Скоро-скоро!»

Я прочитала это дважды и рассмеялась, и смех вышел таким скрипучим, что собака за стеной снова тявкнула. Задаток за читальню был невозвратным: её бронировали за год, и я сама настояла на этом зале, сама уговаривала Натана, что лепной карниз стоит каждого цента. Если до пятницы не внести последний платёж, сгорала и дата. Отказ от флориста за две недели означал штраф в половину стоимости. Я знала эти цифры наизусть, потому что сама вела всю таблицу, и теперь они выстраивались передо мной ровными столбиками, холодными, как смета на снос здания, которое мне нравилось.

Я положила телефон экраном вниз. Он тут же завибрировал снова.

Сначала я решила, что это Натан, и разозлилась так, что свело пальцы. Но это была бабушка. Последнее время она плохо спала, говорила, что сердце по ночам «ворчит, как старый холодильник», и коротала бессонницу, присылая мне фотографии своих карточных раскладов и неприличные анекдоты из интернета. На этот раз пришло фото из примерочной. Бабушка Мэгги стояла перед зеркалом в сиреневом платье с рукавами три четверти, одной рукой держалась за спинку стула, а другой показывала камере большой палец.

Щёки у неё были бледнее, чем мне хотелось бы, а у краёв губ лежала лёгкая синева, которую я заметила раньше, чем улыбку. Но улыбалась она так широко, что видно было золотую коронку сбоку.

«Взяла сиреневое, – писала она. – Твоя мать говорит, что я похожа на баклажан. Я ей ответила, что я королева баклажанов, и пусть завидует. Осталось 14 дней, Эви. Я собираюсь танцевать. И пусть мой кардиолог подавится своим стетоскопом».

Я смотрела на фотографию, пока экран не погас сам, включала его и смотрела снова. На бабушкин большой палец. На синеву в уголках её губ. На стул, за который она держалась, потому что стоять без опоры ей уже было трудно, хотя она никогда бы в этом не призналась.

В ту ночь я ей так и не ответила. Я легла поверх одеяла, не раздеваясь, прижала телефон к груди и до рассвета пыталась придумать, как сказать женщине, которая собирается танцевать на моей свадьбе наперекор собственному сердцу, что танцевать ей будет не с кем и негде.

Глава 2

ДЖУЛИАН

За тринадцать дней до свадьбы

Фотография висела на большом экране в переговорной на сорок втором этаже, и я выглядел на ней как человек, которого только что окатили шампанским. Неудивительно: меня действительно окатили шампанским. Белая рубашка прилипла к груди, с подбородка капало, а на лице застыло выражение, которое мой пиар-директор деликатно назвал «недостаточно благодушным». Справа в кадре замерла Слоан Уэст с пустым бокалом и открытым ртом, на середине фразы, которую назавтра процитировали все, кто умел пользоваться клавиатурой. Слева, чуть размытая, стояла Кэролайн Уитмор, прижав ладонь к губам.

Вся история заняла меньше минуты. В пятницу светская хроника сообщила, что мы с Кэролайн «близки к помолвке», хотя за полгода виделись дважды и оба раза обсуждали её лабрадора. Я догадывался, откуда растут ноги у этой новости, но доказать ничего не мог. В субботу на благотворительном ужине фонда Уитморов репортёр сунул мне под нос диктофон и спросил, когда свадьба. Я был зол и ответил честно и громко: мисс Уитмор – прекрасный человек, и я на ней не женюсь, ни в этом году, ни в каком другом. Кэролайн стояла в трёх шагах. Я её не видел, но это меня не оправды-

вает. Слоан, с которой мы расстались весной после двух лет, где я ничего не обещал, а она рассчитывала на всё, к тому моменту выпила ровно столько, чтобы решить, что эта сцена принадлежит ей. Она спросила, на ком же я тогда собираюсь жениться, если не на ней и не на «этой собачнице», и выплеснула бокал мне в лицо. Кто-то успел нажать на кнопку.

– Заголовок, – сказал Маркус, наш директор по коммуникациям, и щёлкнул пультом.

«Наследник Эшфордов: шампанское, скандал и отвергнутая невеста».

– Невеста она только в твоей пятничной колонке, – заметил я.

– Мне всё равно, чья это колонка, – ответил Маркус с терпением человека, который провёл воскресенье на телефоне. – Мне важно, что в одиннадцать у тебя совет, а в половине двенадцатого эту фотографию будут обсуждать девять человек, трое из которых считают, что слово «таблоид» пишется через твою фамилию.

До совета я успел сделать то, за что мне платят. Поставщик фасадных панелей для комплекса в Лонг-Айленд-Сити сорвал сроки на три недели и прислал письмо, полное сожаления и без единой даты. Я позвонил его генеральному директору напрямую, предложил разбить поставку на две очереди и начать монтаж с восточной стороны, где уже стояли леса. Через сорок минут у меня был пересчитанный график, а Прия из финансового отдела перестала смотреть на меня

так, словно я лично утопил контейнер. Проблема, варианты, решение, цена. Я любил эту работу за то, что в ней никто не плескал в лицо алкоголем.

Совет директоров Ashford Group собирался в угловом зале с видом на Парк-авеню. Девять человек, остывающий кофе и моя мать во главе стола в жемчужно-сером костюме. Вивиан Эшфорд вела заседания, как дирижёр ведёт оркестр, в котором каждый музыкант уверен, что играет по собственной воле. Отчёт моего подразделения прошёл хорошо: мы были в плюсе, несмотря на ставки, и цифры я знал наизусть. Потом Эдвард Кинг, самый старый член совета, снял очки, протёр их салфеткой и сказал, не глядя на меня, что в следующем году совет будет рассматривать кандидатуру на пост операционного директора группы, и для этой роли важна «предсказуемость». Он произнёс это слово так нежно, будто речь шла о внуке. Ещё двое кивнули. Мать промолчала. Этого было достаточно.

Она вызвала меня к себе через двадцать минут.

В кабинете Вивиан пахло белыми орхидеями и полиролью. Мать налила себе чаю, к которому так и не притронется, и указала на кресло. Я остался стоять.

– Кэролайн плакала в машине, – сказала она. – Её мать позвонила мне в час ночи.

– Тогда ей стоит позвонить тому, кто отправил в хронику новость о помолвке.

– Я ничего никуда не отправляла.

– Да уж конечно.

Она поставила чашку на блюдце так аккуратно, что фарфор даже не звякнул.

– Тебе тридцать один год, Джулиан. Ты хочешь место за этим столом, – она кивнула в сторону зала совета, – и ты его заслуживаешь. Но совет голосует не только за таблицы. Им нужен человек, который не появляется на первых полосах мокрым, рядом с бывшей любовницей. Им нужен женатый мужчина. Стабильный. С женой, которую не стыдно поставить рядом на годовом собрании акционеров.

– Ты говоришь о жене, как о галстуке.

– Галстуки ты выбираешь лучше, чем женщин. Слоан была ошибкой.

– Слоан была моей ошибкой. А Кэролайн – твоя.

На лице матери ничего не изменилось. Это было её главное оружие: она умела не меняться в лице, когда другие уже кричали. В детстве я пытался этому научиться и почти научился, и теперь иногда ловил в зеркале её выражение на своих чертах.

– Кэролайн умна, хорошо воспитана, её семья…

– Я женюсь, – сказал я.

Она приподняла бровь.

– Сам, – добавил я. – На ком захочу. И очень скоро.

– Насколько скоро?

– Скорее, чем ты успеешь напечатать приглашения с чужим именем.

Мать улыбнулась, и эта улыбка мне совсем не понравилась. Так она улыбалась на переговорах, когда противник сам предлагал условия хуже тех, на которые она рассчитывала.

– Чудесно. Тогда я жду знакомства. Скажем, до Рождества? Если к Рождеству у тебя не будет невесты, я попрошу Кэролайн дать тебе ещё один шанс. Она великодушна.

Я вышел из кабинета с ощущением, что только что сделал ставку, не посмотрев в карты. Старая привычка: сказать что-то резкое, выиграть комнату, разбираться с последствиями потом. С возрастом я научился пользоваться ею реже, но мать умела вытащить её из меня за две минуты, как фокусник вытаскивает платок из рукава.

Вечером Шарлотта пришла ко мне без звонка и открыла дверь своим ключом, который я трижды пытался у неё отобрать. Она вошла с пакетом тайской еды в одной руке и распечаткой в другой, прошла прямо к холодильнику и прилепила распечатку на дверцу магнитом в виде ананаса. Та самая фотография.

– Повешу в рамочку у себя в офисе, – сказала она. – Мои подростки будут учиться на твоём примере, как не надо.

– Ты руководишь культурной программой, а не исправительной колонией.

– Разница меньше, чем ты думаешь. – Она уселась на высокий табурет у кухонного острова и принялась распаковывать коробки. – Ты здесь похож на мокрого добермана. Бла-

городного, но очень глупого.

Моя сестра была на год младше меня и в сто раз невыносимее. Мамины скулы, папины тёмные глаза и полное отсутствие уважения к старшинству. В детстве она кусалась, в школе стучала на меня учителям, а в двадцать начала говорить мне правду в лицо с такой регулярностью, словно поставила напоминание в календаре. Она была единственным человеком в семье, рядом с которым мне не нужно было ничего доказывать, и единственным, кто мог заткнуть меня одной фразой. Я никогда бы ей в этом не признался.

– Мама тебе звонила? – спросил я, доставая тарелки.

– Трижды. Я сказала, что ты умер. Она спросила, успел ли ты подписать квартальный отчёт.

– Успел.

– Я так ей и передала. Она успокоилась.

Я фыркнул, и Шарлотта довольно ухмыльнулась: рассмешить меня она считала личным спортивным достижением. Мы ели пад-тай прямо из коробок, стоя у острова, как в студенчестве, и она рассказывала, как пятнадцатилетний мальчик из Бронкса на её программе написал пьесу про собственную бабушку и на премьере плакал весь зал, включая охранника. Потом посмотрела на меня поверх палочек.

– Ты извинился перед Кэролайн?

– Я отправил ей цветы.

– Цветы, Джулиан, не извинение. Цветы – это логистика.

– Логистика у меня отлично получается.

– Вот именно. – Она ткнула в мою сторону палочками. – Позвони ей сам.

Я кивнул, потому что она была права, а спорить с Шарлоттой, когда она права, бессмысленно и утомительно. Потом, сам не знаю зачем, сказал:

– Я сообщил матери, что женюсь.

Шарлотта поперхнулась лапшой. Кашляла она долго и с удовольствием, а я подал ей воды и ждал.

– На ком? – просипела она наконец. – На своём отражении? Больше ведь никто тебя не достоин, по твоему собственному мнению.

– Ещё не решил.

– Обычно это решают в другом порядке, гений.

– Мама дала мне срок до Рождества. Потом Кэролайн даст мне ещё один шанс, потому что она великодушна.

– Господи. – Шарлотта отставила коробку. – Ты понимаешь, что мама это только что выиграла? Она даже не спорила, да? Ты сам ей всё отдал.

– Понимаю.

– И что ты будешь делать?

Ответить я не успел. У неё завибрировал телефон, и Шарлотта бросила на экран быстрый взгляд, каким смотрят на рабочие сообщения. Потом посмотрела ещё раз, и лицо у неё изменилось. Это выражение я знал со школы: такое бывало у неё, когда она шла по коридору к шкафчику Эвелин Паркер и знала, что я где-то рядом. Сосредоточенное, злое и очень

испуганное одновременно.

– Эви, – сказала она, вставая.

Она вышла на террасу, прижимая телефон к уху, и прикрыла за собой стеклянную дверь неплотно. Подслушивать я не собирался: убирал коробки, вытирал стол. Но дверь была приоткрыта, терраса тихая, а голос у моей сестры, когда она волнуется, становится громче, чем ей кажется.

– …он что?.. Господи, Эви. Когда?.. Нет, не говори ничего, я сейчас приеду… Хорошо. Хорошо, завтра. Ты точно?.. А зал?.. Сколько?.. Невозвратный?.. А бабушка?.. Нет, конечно, нет. Ты не обязана ничего решать сегодня. Слышишь меня? Ничего.

Я стоял у раковины с мокрой губкой в руке и смотрел в тёмное окно, где отражалась кухня и я сам, в домашней футболке, с полотенцем на плече.

Шарлотта вернулась через десять минут. Глаза у неё были злые и мокрые.

– Натан ей изменил, – сказала она, хватая сумку. – С мая. Свадьба через две недели, а он вчера пришёл и всё отменил. Всё. Зал оплачен, сто двадцать гостей, бабушка уже купила платье. Она говорит, что всё нормально, а голос такой, будто её переехали.

– Натан, – повторил я. Я видел его однажды, на дне рождения Шарлотты: светловолосый, приятный, с хорошим рукопожатием и привычкой ставить бокал строго на подставку.

Шарлотта обернулась в дверях и прищурилась.

– Даже не думай злорадствовать.

– Я ни слова не сказал.

– Ты подумал.

– Я подумал, что Натан идиот.

Она замерла с рукой на дверной ручке и посмотрела на меня так, будто я заговорил на латыни.

– Ты за восемнадцать лет впервые сказал о ней что-то, кроме гадости.

– Я сказал о Натане.

– Ага, – очень медленно произнесла моя сестра. – Повзрослел, значит.

Дверь за ней закрылась, и в квартире стало тихо, как бывает только там, где слишком много места для одного человека.

Я налил виски, вышел на террасу, где ещё держался запах её духов, и долго смотрел на огни за Гудзоном. Последний раз я видел Эвелин Паркер в марте, на тридцатилетии Шарлотты. Весь вечер мы старательно держались в разных концах комнаты, а потом Шарлотта усадила нас за одну игру, потому что моя сестра обожает эксперименты с опасными веществами. Я выиграл. Эвелин наклонила голову, посмотрела на меня, как смотрят на неправильно рассчитанную балку, и потребовала правила. Она прочитала их полностью, все четыре страницы, при всех, и нашла пункт, по которому мой последний ход был спорным. Не неправильным. Спорным. Она произнесла это слово с таким наслаждением,

что половина комнаты рассмеялась, а сама она прижала ладонь ко рту, пряча улыбку. Волосы у неё теперь были длинные, тёмно-русые, волнистые, и когда она наклонялась над правилами, они падали ей на щёку. Я смотрел на них дольше, чем следовало, и вспоминал, почему когда-то они были короткими. Стало неприятно. Я ушёл раньше всех, сославшись на звонок из Токио. Никакого звонка из Токио не было.

Оплаченный зал. Сто двадцать гостей. Назначенная дата. Больная бабушка в новом платье. И я, которому жена нужна до Рождества, а лучше гораздо раньше, пока совет ещё помнит фотографию с шампанским и пока мать не успела снова подготовить для меня Кэролайн.

Идея была ужасной. Я понял это в первую же секунду и именно поэтому не мог от неё отделаться. Крутил стакан и раскладывал её так же, как утром раскладывал график поставки панелей: проблема, варианты, решение, цена. Цена выходила неприличной. Варианты тоже.

Одно я знал точно. Эвелин Паркер скорее вышла бы замуж за дохлого голубя, чем за меня. Я знал это лучше всех, потому что голубя ей когда-то подбросил я сам.

Глава 3

ЭВЕЛИН

За двенадцать дней до свадьбы

– Паркер, у вас северный фасад смотрит на юг.

Моника Чэнь положила лист на мой стол, развернула ко мне и постучала по нему ногтем, коротким и безупречно ровным, как всё в Монике. На чертеже церкви в Ред-Хуке, над которым я сидела с восьми утра, стрелка севера действительно смотрела в обратную сторону. За шесть лет работы я ни разу так не ошибалась. Я могла перепутать дату совещания, могла забыть пообедать, но север у меня всегда был там, где ему положено.

– Простите, – сказала я. – Сейчас исправлю.

Моника посмотрела на меня внимательно и без всякой жалости, и за это я готова была её расцеловать. В бюро уже все знали. Я не говорила никому, кроме Итана, Итан не сказал никому, кроме своей девушки, которая работала у нас на ресепшене, и к десяти утра на меня смотрели так, словно я пришла в офис на костылях.

– Если вам нужен выходной, возьмите, – сказала Моника. – Если нет, разверните фасад. Меня устраивает любой вариант, кроме третьего, где вы сидите здесь и делаете вид, что работаете.

– Мне не нужен выходной.

– Тогда фасад.

Она ушла, и я развернула фасад. Проверила остальные листы и нашла ещё одну ошибку, в отметках карниза, мелкую, но такую, за которую в обычный день сама устроила бы себе выговор. Итан принёс мне кофе с корицей, поставил на край стола и неловко потоптался рядом. Он был хорошим архитектором и прекрасным человеком, но утешать не умел совершенно, и это меня трогало.

– Слышал, – сказал он. – Мне жаль, Эв. Он кретин.

– Спасибо, Итан.

– Если хочешь, я могу… ну… не знаю. Испортить ему что-нибудь? Я хорошо разбираюсь в вентиляции.

Я засмеялась впервые за полтора дня, и смех получился почти нормальным. Но кофе, когда Итан ушёл, я выпить не смогла. В стрессе я не пью кофе, и знал об этом только один человек, который четыре месяца параллельно знал кое-что ещё. Я вылила стаканчик в горшок с фикусом у окна, и фикус, судя по его виду, давно привык к таким жертвам.

В обед пришло письмо от Натана. Короткое, аккуратное, с правильно расставленными запятыми, как все его письма. Он поговорил с арендодателем, мистером Ковальски, тот согласен вывести меня из договора на квартиру в Парк-Слоуп, юрист пришлёт документ на подпись до конца недели. В конце стояло «Прости». Слово стояло отдельно от остального текста, будто его приклеили в последний момент. Я написала «Жду документ» и нажала «отправить», пока не доба-

вила чего-нибудь, о чём пожалела бы.

Вечером я поехала к родителям.

Они жили в Кенсингтоне, в старом доме на две семьи с покосившимся крыльцом, которое папа каждую весну обещал перебрать и каждую осень находил дела поважнее. Бабушка жила через два квартала, в доме с лифтом, куда переехала три года назад после долгих скандалов, в которых она называла лифт «капитуляцией», а мама называла её «упрямой старой ослицей». В тот вечер бабушка пришла к нам на ужин, и я увидела её ещё с улицы: она стояла у крыльца и смотрела на четыре ступеньки так, как альпинист смотрит на вершину.

Поднялась она с двумя остановками. Я шла сзади и видела, как во второй раз она взялась за перила обеими руками и сделала вид, что разглядывает папины хризантемы в горшке. Хризантемы засохли ещё в прошлом месяце.

Мама открыла дверь и, не говоря ни слова, обняла меня так крепко, что хрустнула спина. Маленькая, энергичная, с короткими седыми кудрями и руками, вечно пахнущими клеем и старой бумагой, потому что двадцать лет держала в Бруклине мастерскую по ремонту и переплёту книг. Она умела спорить с налоговой, с поставщиками кожи и с моими школьными учителями одинаково громко и одинаково успешно. В её объятиях я на секунду почувствовала себя восьмилетней, и это было так хорошо, что я испугалась снова разреветься.

– Я его переплету, – прошептала мама мне в волосы. – В телячью кожу. И поставлю на полку между Иудой и налоговым кодексом.

– Мам.

– Что «мам»? Имею право. Я ему на прошлый День благодарения пирог пекла. С пеканом, Эви. Я пеканы вручную колола.

Папа вышел из кухни с полотенцем через плечо. Высокий, сутулый, немногословный, он всю жизнь заботился о муниципальных зданиях и о нас с той же спокойной основательностью, с какой проверял котельные и пожарные лестницы. Обнимать меня при маме он не стал, чтобы не устраивать соревнования, только положил ладонь мне на затылок, тяжёлую и тёплую, и подержал так пару секунд.

– Ты ела? – спросил он.

– Не помню.

– Значит, нет. Садись.

За ужином мама говорила за всех. Она перечислила, что сделает с Натаном, с его машиной, с его матерью, которая на помолвке называла меня «наша девочка», и с его коллегой, которую мама в глаза не видела, но уже ненавидела за серьги-полумесяцы. О серьгах я ей не рассказывала, и откуда она это узнала, осталось загадкой. Папа ел молча и время от времени задавал вопросы, на которые можно было ответить цифрами, и от этого мне становилось легче. Вернут ли деньги за зал? Нет. Кто подписывал договор с флористом?

Я. Освободят ли меня от аренды письменно? Да, обещают до конца недели. Ты уверена, что письменно? Уверена, папа.

Бабушка весь ужин почти молчала, и это пугало больше всех маминых проклятий, вместе взятых. Бабушка Мэгги молчала только за картами и на похоронах.

После ужина мы, как всегда, сели играть в джин-рамми, потому что в нашей семье карты были чем-то вроде религии. Раздавала бабушка, и руки у неё были прежние, ловкие, с распухшими суставами и тонким золотым кольцом, которое она не снимала пятьдесят лет. Она выиграла первую партию, потом вторую. На третьей я сбросила не ту карту, бабушка тут же объявила джин, и я машинально сказала:

– Подожди. Покажи правила.

– Какие ещё правила? Ты играешь в это с шести лет.

– Там есть пункт про сброс после…

– Эвелин Маргарет Паркер. – Бабушка положила карты и посмотрела на меня поверх очков. – Ты проиграла. Смирись.

Я засмеялась, и бабушка тоже – громко, хрипло, своим знаменитым смехом, на который в ресторанах оборачивались официанты. А потом смех оборвался. Она прижала ладонь к груди и сидела, глядя в одну точку и мелко, часто дыша. Мама вскочила и загремела на кухне ящиком с таблетками. Папа молча пододвинул свой стул к бабушкиному. А я сидела с картами в руке и видела то, на что раньше не позволяла себе смотреть: синеву у краёв её губ, отёкшие щиколотки над туфлями, которые стали ей тесны, и то, как она

старается дышать неглубоко, будто воздух вдруг подорожал.

– Перестаньте на меня таращиться, – сказала она через минуту, когда отпустило.

Позже, когда мама ушла мыть посуду, а папа пошёл за курткой, чтобы проводить бабушку до её лифта, я осталась с ней в прихожей, пока она медленно застёгивала пальто. Она перехватила мою руку. Пальцы у неё были холодные.

– Слушай меня, – тихо сказала бабушка. – Ты мне ничего не должна. Ни свадьбы, ни платья, ни танца. Платье я в любом случае надену, хоть за молоком, хоть на собственные похороны.

– Ба.

– И ты ни в чём не виновата. Этот Натан просто идиот и не стоит твоего мизинца.

Она поцеловала меня в щёку и ушла, опираясь на папину руку, а я осталась в прихожей с чувством, что меня отругали за преступление, которого я ещё не совершила.

Я пошла на кухню помочь маме и остановилась в коридоре: папа вернулся раньше, чем я думала, и говорил с ней вполголоса у раковины. Текла вода, звякали тарелки, но его голос, низкий и ровный, прорезал этот шум.

– …кардиолог сказал, клапан сужается быстрее, чем они думали. Направляют в специализированный центр, на полное обследование. Говорит, без вмешательства…

– Не при Эви, – оборвала мама. – Слышишь? Только не сейчас. Ей и так хватает.

Вода продолжала течь. Я тихо вернулась в гостиную, села на диван и уставилась в телефон, будто пишу сообщение.

В метро я, конечно, сделала то, чего делать было нельзя. Загуглила. Я архитектор, а не кардиолог, и прекрасно понимала, что интернет не знает мою бабушку, её сердце и её упрямство, но открыла одну статью, вторую, потом медицинский форум, где чья-то дочь писала о своей матери. «Тяжёлый симптомный стеноз», «без лечения», «прогноз». Цифры там были короткие и страшные, и мой натренированный на расчёты мозг тут же сложил их в простую мысль: если я сейчас отменю свадьбу и перенесу её на следующий год, бабушка может её не увидеть. Может, конечно, и увидеть. Но «может» было последним словом, на которое я в тот вечер готова была поставить.

Когда я поднималась к себе на третий этаж, позвонила Рене.

– Эвелин, дорогая, прости, что поздно! – Голос у неё был бодрый, будто на дворе полдень. – Просто хотела напомнить про пятницу. И флорист спрашивает, оставляем ли мы пионы в арке или делаем микс с ранункулюсами, потому что…

– Рене. – Я прислонилась лбом к своей двери. – Дайте мне сутки.

В трубке воцарилась тишина. За всё время нашего знакомства Рене ни разу не молчала дольше двух секунд.

– Конечно, – сказала она наконец совсем другим голосом, человеческим и тихим. – Сутки. Я ничего не трогаю.

Шарлотта пришла в десять со своим аварийным набором: бутылка красного, огромная пачка чипсов с уксусом, плитка горького шоколада и упаковка бумажных платков, которую она швырнула на диван со словами «на всякий случай, без давления». Она обняла меня в дверях, долго и молча, потом отстранилась и окинула взглядом квартиру. Я знала, что она видит: схему рассадки, всё ещё прилепленную скотчем к стене над столом, платье в чехле на дверце шкафа, нетронутую стопку карточек.

– Ты ничего не отменила, – сказала она.

– Я дала себе сутки.

– Сутки на что?

– На то, чтобы подумать.

Шарлотта посмотрела на меня так же пристально и тревожно, как в школе, когда я говорила, что всё в порядке, а у меня в рюкзаке лежал дохлый голубь. Она открыла было рот, но я сунула ей бокал, и она решила отложить допрос.

Минут через двадцать, когда мы сидели на полу, привалившись к дивану, с чипсами между нами, Шарлотта полезла в телефон и сунула мне экран.

– Это тебе. Терапевтическое.

На экране был Джулиан Эшфорд. Мокрый, в прилипшей к груди белой рубашке, с каплями шампанского на подбородке и лицом человека, который только что узнал, что мир устроен несправедливо. Рядом блондинка в чёрном платье замерла с пустым бокалом. Заголовок обещал скандал, шам-

панское и отвергнутую невесту.

Я засмеялась. Смеялась так, что пришлось прижать ко рту ладонь, потом вторую, а потом я просто легла на пол и хохотала в потолок, пока не заболел живот. Шарлотта смотрела на меня с таким облегчением, будто это было частью врачебного плана.

– Его наконец кто-то облил, – выговорила я, вытирая глаза. – Жаль, что не овсянкой.

– Я передам ему твои пожелания.

– Не надо. Он и так знает, что я о нём думаю.

– Он ещё вчера заявил маме, что женится, – добавила Шарлотта, отправляя в рот чипсину. – Скоро. На ком, не сказал. По-моему, он сам не знает.

– Бедная женщина, – с искренним сочувствием сказала я. – Кем бы она ни была, я пошлю ей соболезнования.

Шарлотта фыркнула в бокал. Потом посерьёзнела и отставила вино.

– Эви. Что ты собираешься делать?

– Не знаю.

– Неправда. У тебя лицо, как перед дебатами. Ты что-то считаешь.

Я не ответила. Шарлотта знала меня восемнадцать лет и слишком хорошо читала моё лицо, поэтому я просто положила голову ей на плечо. Она замолчала и гладила меня по волосам, пока бутылка не опустела. Уходя в полночь, она ещё раз обняла меня в дверях и пообещала, что если я сде-

лаю какую-нибудь глупость, не посоветовавшись с ней, она расскажет моей маме про татуировку у меня на лодыжке, которую мама до сих пор считает переводной.

Когда дверь за ней закрылась, я вернулась к столу и долго смотрела на схему рассадки. Сто двадцать имён. Двенадцать столов. Бабушка за первым столом, в сиреневом платье, которое ей идёт. Квартет, пионы, читальня с лепным карнизом, торт с лимонным кремом, который я выбирала три дегустации подряд. Всё было готово, оплачено, подтверждено и стояло на своих местах, как здание, которому осталось достроить один этаж. Не хватало одного человека. И этот человек, как выяснилось, был самой заменяемой деталью всей конструкции. Натан доказал это лучше любого расчёта.

Мысль была безумная. Я посмотрела на неё со всех сторон, как смотрю на чужой проект, в котором подозреваю ошибку, и с ужасом поняла, что в несущих конструкциях ошибок нет. Только в моральных, юридических и всех остальных. Брак по договору. На год. Отдельные деньги, отдельные жизни, никакой любви, никаких иллюзий. Настоящая свадьба для бабушки, которая будет танцевать в своём сиреневом платье, и тихий развод через год, когда всё уляжется, когда её подлечат, когда я смогу сказать правду, не рискуя её сердцем.

Я открыла ноутбук, создала новый документ и после долгого раздумья напечатала заголовок: «Технические требования к жениху».

Первым пунктом я написала «Не Натан». Вторым – «Без судимостей». Третьим – «Умеет медленно танцевать, не наступая на ноги». Четвёртым, подумав, – «Не привлекает меня физически». Потом закрыла ноутбук, посидела в темноте, послушала, как за стеной ворочается соседская собака, и открыла его снова.

К двум часам ночи список был готов. Я написала Мэдди, бывшей однокурснице, которая знала по именам всех завсегдатаев бара на Атлантик-авеню и всех бруклинских предпринимателей, когда-либо пивших там негрони.

«Мэдди, у тебя есть знакомые одинокие мужчины, которым срочно нужна жена? Я не шучу».

Ответ пришёл через минуту.

«Ты пьяна?»

Я посмотрела на пустую бутылку на полу, на платье в чехле, на бабушкину фотографию в телефоне, оставшуюся без ответа, и напечатала:

«Трезва как никогда. Завтра в восемь?»

Глава 4

ЭВЕЛИН

За одиннадцать дней до свадьбы

Бар назывался «Гвоздь» и полностью оправдывал название: узкий, длинный, с кирпичными стенами, увешанными старыми инструментами, и стойкой из спасённой при сносе балки, в которую действительно были вбиты кованые гвозди. Я машинально отметила, что балку плохо обработали и через пару лет она пойдёт трещинами по торцам, и подумала, что если начну рассказывать об этом незнакомым мужчинам, замуж меня не возьмут даже по договору.

Мэдди уже сидела у стойки, в кожаной куртке и с неизменным негрони, и помахала мне так энергично, будто я вернулась с войны. Она была из тех людей, которые знают всех: бариста в соседнем квартале, владельца цветочной лавки, двух городских советников и половину бруклинских стартаперов, которые приходили сюда обсуждать, как изменят мир с помощью приложения для выгула собак.

– Покажи руки, – потребовала она, когда я села.

– Зачем?

– Хочу убедиться, что ты не дрожишь. Ты вчера в два ночи написала мне про срочную жену. Я решила, что тебя похитили и заставили печатать под дулом пистолета.

– Меня никто не похищал. Я просто посчитала.

– Ты всегда «просто считаешь», а потом мы оказываемся в Монреале без обратных билетов.

Монреаль случился один раз, на третьем курсе, и это была не моя вина. Я заказала белое вино, потому что хотела сохранить ясную голову, и коротко, без подробностей, рассказала Мэдди про Натана. Мэдди выругалась так изобретательно, что бармен уважительно поднял бровь, а потом смерила меня долгим взглядом.

– То есть ты серьёзно, – сказала она. – Ты хочешь найти мужчину, который сыграет жениха.

– Не сыграет. Женится. По-настоящему, с лицензией. На год. Потом тихий развод.

– Ради бабушки.

– Ради бабушки.

Мэдди покрутила бокал и оглянулась на зал.

– Есть один человек, – сказала она наконец. – Дэниел. Устраивает тут маркеты по выходным, у него своя компания, что-то с мероприятиями. Умный, не женат, не псих, насколько я знаю. И у него всегда загораются глаза, когда кто-то предлагает что-нибудь безумное. Только, Эви, я тебя прошу…

– Я буду осторожна.

– Я хотела сказать, не пугай его своими таблицами.

Дэниел Моррис оказался высоким загорелым мужчиной лет тридцати пяти, с бородой, в клетчатой рубашке и с открытой улыбкой человека, который никогда не носил галстук

дольше часа. Он сел рядом, пожал мне руку крепко и коротко, и следующие десять минут я, путаясь и краснея, объясняла ему общий принцип. Без дат, сумм и имён. Брак, документы, год, раздельные финансы. Он слушал внимательно, наклонив голову, и в его глазах действительно что-то загорелось, но скорее любопытство, чем согласие.

– Звучит как сериал, – сказал он, когда я закончила. – Серьёзно. Я бы посмотрел.

– Я не предлагаю вам смотреть. Я предлагаю вам сниматься.

Он засмеялся, и тут у него зазвонил телефон. Он глянул на экран, поморщился и встал.

– Поставщик. Если я сейчас не отвечу, в субботу у меня не будет шатров. Слушайте, Эвелин, напишите мне, хорошо? Нормально, по пунктам. Я подумаю. Ничего не обещаю, но мне интересно.

Он оставил номер и ушёл, прижимая телефон к уху. Через пять минут исчезла и Мэдди: кто-то из её знакомых праздновал день рождения в дальнем конце зала, и её утащили танцевать под древний диско-хит. Я осталась одна у стойки, с бокалом вина и телефоном, и сделала то, о чём меня просили. Написала Дэниелу. Нормально, по пунктам, как делаю всё в жизни: что мне нужно, на какой срок, на каких условиях, что я не претендую на его деньги и не жду от него ничего, кроме подписи и одного медленного танца. Перечитала, поправила запятую, отправила и почувствовала себя одновре-

менно невероятно умной и невероятно жалкой.

Через несколько минут пришёл ответ: «Интересно. Дайте мне пару дней».

– Скучаешь, красавица?

Рядом на табурет опустился мужчина в жилетке поверх белой рубашки, с ухоженной бородкой и одеколоном, которым можно было травить насекомых. Он поставил локоть на стойку так, что почти коснулся моего бокала.

– Нет, – сказала я. – Спасибо.

– Да ладно. Такая девушка одна в баре в среду. Давай я тебе что-нибудь закажу.

– Не нужно.

– Что пьёшь? Белое? Белое для грустных. Давай что-нибудь повеселее.

Я повернулась к нему спиной и уставилась в телефон. Он наклонился ближе, и его рука легла мне на локоть, тёплая, влажная и совершенно чужая.

– Ну улыбнись. Тебе пойдёт.

– Уберите руку.

Он не убрал. Наоборот, сжал пальцы сильнее и засмеялся, будто мы играли в весёлую игру, правила которой знал только он. Бокал у меня был тяжёлый, с толстым дном, и я всерьёз прикидывала, как сильно надо ударить, чтобы человек отпустил, но не попал в больницу.

На стойку между мной и жилеткой легла ладонь.

Большая мужская ладонь с длинными пальцами и старым

рубцом на костяшке, который я узнала бы среди тысячи других. Рукав тёмной рубашки был закатан до локтя.

– Она сказала «уберите руку», – спокойно, почти дружелюбно произнёс Джулиан Эшфорд. – Два раза. Я считал. На третий я позову бармена, бармен позовёт охрану, а охрана, насколько я вижу, бывший полузащитник «Джетс». У него сегодня тяжёлый вечер. Не делай его тяжелее.

Жилетка посмотрела на Джулиана, потом на здоровяка у двери, потом снова на Джулиана. Тот стоял очень прямо, не повышал голоса, не сжимал кулаков и выглядел так, будто зашёл узнать, который час. Но было в нём что-то такое, от чего жилетка разжала пальцы, пробормотала, что не знала, что я «с кем-то», и растворилась в толпе.

– Я ни с кем, – сказала я ему в спину.

Джулиан опустился на освободившийся табурет.

– Я справлялась, – сообщила я.

– Значит, я зря проявил благородство.

– Ты и благородство – вещи несовместимые.

– Злюка.

Я развернулась к нему всем корпусом. Он выглядел совсем не так, как на фотографии с шампанским: тёмная рубашка, волосы растрёпаны, будто он несколько раз провёл по ним рукой, на подбородке вечерняя тень щетины. В тусклом жёлтом свете глаза у него казались почти серыми, и он смотрел на меня с тем ленивым насмешливым вниманием, от которого в пятнадцать лет мне хотелось провалиться под

землю, а в тридцать вдруг захотелось выплеснуть ему в лицо вино и проверить, повторится ли фотография.

– Что ты здесь делаешь? – спросила я.

– Пью. – Он кивнул бармену, и тот, не спрашивая, поставил перед ним виски. – Шарлотта сказала, что ты собираешься сделать какую-то глупость в баре на Атлантик-авеню. Она до десяти на премьере у своих подростков и очень нервничала. Велела мне ни в коем случае не вмешиваться.

– И ты, конечно, пришёл.

– Я плохо слушаюсь. Это у нас семейное.

Я мысленно пообещала себе убить Шарлотту. Потом вспомнила, что сама написала ей название бара, чтобы она не волновалась, и пообещала себе убить ещё и себя.

– Ну, глупость я уже сделала, – сказала я и отпила вина. – Можешь доложить сестре, что всё под контролем. И уйти.

– Ты ищешь жениха.

Вино пошло не в то горло. Я кашляла, а он невозмутимо протянул мне салфетку.

– Шарлотта не могла тебе этого сказать, – выдавила я. – Она не знает.

– Она не знает. Она сказала, что у тебя было лицо, как перед дебатами. Я помню это лицо. Ты всегда так выглядела перед тем, как разнести меня в финальном раунде. А потом ты двадцать минут что-то объясняла мужику в клетчатой рубашке, загибая пальцы, и он смотрел на тебя, как смотрят на рекламу таймшера. Я сложил два и два.

– Ты подслушивал.

– Наблюдал. – Он покрутил стакан, и лёд глухо стукнул о стекло. – Мне жаль, что Натан оказался идиотом.

Ни насмешки, ни «это было предсказуемо», ни намёка на школьное злорадство. Он сказал это просто, глядя не на меня, а на лёд в стакане, и я почему-то разозлилась ещё сильнее.

– Тебе не жаль. Ты с двенадцати лет мечтал увидеть меня в таком положении.

– Ты никогда не фигурировала в моих мечтах, Паркер. – Он наконец посмотрел на меня. – И да. Мне жаль.

Мы помолчали. Где-то в глубине зала Мэдди визжала под «Dancing Queen». Бармен протирал стаканы с видом человека, который всё слышит и ни во что не вмешивается.

– У меня к тебе предложение, – сказал Джулиан.

– Нет.

– Ты даже не дослушала.

– Мне не нужно дослушивать. Всё, что начинается словами «у меня к тебе предложение» и исходит от тебя, заканчивается для меня каким-нибудь дерьмом.

Он не отвёл взгляда и не улыбнулся. Это было странно. Я помнила его улыбку в столовой, широкую, довольную, когда каша стекала у меня по лицу, а триста человек смеялись. Сейчас он смотрел так, будто я положила перед ним документ, который ему придётся подписать.

– Да, – сказал он. – Это справедливо. Ты не хочешь иметь

со мной дела.

– Я ещё помню, как ты спрятал мой проект по физике перед сдачей.

– Его спрятал Брэдли Коул. Я знал, где он лежит, и не сказал.

– Это ещё хуже.

– Да, – согласился он. – Хуже.

Я не понимала, что происходит. Джулиан Эшфорд, которого я знала, никогда ничего не признавал. Он выкручивался, острил, переворачивал любую ситуацию так, что виноватой оказывалась я. Этот человек сидел рядом со мной в баре с вбитыми в стойку гвоздями, признавал свои школьные гадости ровным голосом, как пункты в отчёте, и не просил за них прощения. Даже понимания не просил. Во мне поднималась тяжёлая, мутная волна, и злости в ней было больше, чем облегчения.

– Говори, – сказала я.

Он поставил стакан.

– Мне нужна жена. Срочно. После субботы совет директоров считает меня неуправляемым, а мать дала мне срок до Рождества, после чего обещала снова подсунуть мне Кэролайн Уитмор. Тебе нужен жених через одиннадцать дней, потому что у тебя оплачен зал, приглашены сто двадцать человек и бабушка купила сиреневое платье.

– Откуда ты знаешь про платье?

– Шарлотта говорила с тобой по телефону у меня на тер-

расе. Громко. Я не затыкал уши. – Он чуть наклонился вперёд, и я почувствовала его одеколон, сухой и горьковатый, совсем не похожий на жилетку. – Законный брак, настоящая лицензия, всё по правилам. Раздельные счета. Ты работаешь, где работаешь, я не вмешиваюсь. Я обеспечиваю жильё и все расходы, связанные с публичной частью. Ты появляешься со мной на нескольких мероприятиях и выглядишь так, будто обожаешь меня. Через год мы тихо и цивилизованно разводимся. Никто никому ничего не должен.

Я слушала, и в голове против моей воли начинали крутиться шестерёнки. Это было ужасно. Это было ровно то, что я написала в своём документе в два часа ночи, только он произносил это вслух, спокойно и чётко, словно зачитывал мой собственный список.

– Почему я? – спросила я. – У тебя половина Манхэттена в телефоне. Найди себе модель.

– Модель продаст историю через месяц. – Он помолчал. – А ты единственная женщина в Нью-Йорке, которая гарантированно в меня не влюбится. И единственная, кому это нужно так же срочно, как мне.

Я наклонила голову – так я всегда делаю, когда проверяю чужую логику на прочность, – и он, конечно, это помнил: едва заметно напрягся, как на дебатах перед моим вопросом.

– Ты понимаешь, что моя мать тебя ненавидит? – спросила я. – Она до сих пор называет тебя «этот мальчик» таким тоном, каким называют диагноз.

– Понимаю.

– И отец знает.

– Да.

– И ты всё равно хочешь прийти к ним в дом и просить руки их дочери.

– Я не собираюсь ничего просить. Я собираюсь прийти и ответить на всё, что они спросят.

– Они спросят такое, что ты пожалеешь, что родился.

– Вероятно.

Я рассмеялась, коротко и зло, и прижала ладонь к губам, потому что смех был нервный и я не хотела, чтобы он его видел. Он, разумеется, видел. Его взгляд опустился к моей руке, к губам за пальцами и задержался там на секунду дольше, чем требовалось, – я почувствовала это так отчётливо, будто он меня коснулся.

– Мне нужно подумать, – сказала я и полезла за кошельком.

– Я заплачу.

– Ни за что.

Я бросила на стойку двадцать долларов, кивнула бармену и пошла к выходу, не оглядываясь. Снаружи моросил тёплый сентябрьский дождь, и Атлантик-авеню блестела под фонарями, как свежевымытая палуба. Я подняла руку, высматривая такси, и услышала, как за спиной открылась и закрылась дверь бара.

– Я тебя провожу.

– Ты оставишь меня в покое.

– После одиннадцати здесь машину не поймать. Дойдём до угла, там стоянка.

– Ты теперь эксперт по бруклинским такси?

– Я эксперт по многим вещам. Это утомительно.

Мы шли рядом, почти соприкасаясь плечами, и я злилась на всё: на дождь, на туфли, на Шарлотту, на Мэдди, на Натана, на Джулиана, который шёл слишком близко, и на собственные мысли, которые уже успели прикинуть, как будет выглядеть его фамилия в свидетельстве о браке рядом с моей.

– Ты всё это специально, – сказала я на углу, развернувшись к нему. Дождь оседал у него в волосах мелкими каплями. – Ты пришёл сюда не потому, что попросила Шарлотта. Ты уже всё решил. Ты весь вечер сидел и ждал, когда я окажусь в достаточно жалком положении, чтобы согласиться.

– Я пришёл, потому что придумал, – согласился он. – Жалкое положение здесь ни при чём. Ты не выглядишь жалкой, Паркер. Ты выглядишь так, будто собираешься поджечь этот город.

– Я тебя ненавижу.

– Знаю. И это мне на руку. Перед тобой мне не нужно притворяться.

Он сказал это легко, но голос вдруг стал ниже, и я поняла, что мы стоим слишком близко. Так близко, что я видела каплю дождя у него на нижней губе и то, как он медленно сглот-

нул. Под мокрым воротником билась жилка. От него пахло виски, дождём и тем самым горьковатым одеколоном, и ещё чем-то тёплым и чистым, что было уже не одеколоном, а им самим. Тело откликнулось само, не спросив разрешения, и я разозлилась на себя сильнее, чем на Натана.

– Скажи, чтобы я ушёл, – тихо произнёс он. – Прямо сейчас.

Я не сказала.

Не знаю, кто из нас качнулся первым. Хочется думать, что он, но я архитектор и привыкла к точным расчётам, а расчёты говорят, что это была я. Я вцепилась в мокрый край его рубашки и рванула к себе, а он поймал моё лицо ладонями, осторожно, неожиданно бережно, как держат что-то хрупкое и опасное одновременно. Губы у него были горячие и горьковатые от виски. Сначала он поцеловал меня медленно, почти вопросительно, словно проверял, не ударю ли я его, а когда я ответила, когда прижалась к нему всем телом и почувствовала под ладонями, как бешено колотится у него сердце, поцелуй стал другим. Жадным, злым, отчаянным. Я целовала его так, будто мстила за пять школьных лет, а он целовал меня так, будто принимал каждый удар. Его пальцы зарылись мне в волосы на затылке, большой палец медленно провёл по линии челюсти. Дождь затекал мне за воротник, мимо проехала машина и окатила нас из лужи, а мы даже не отстранились.

Когда мы оторвались друг от друга, я задыхалась, как по-

сле двадцати этажей пешком. Он прижался лбом к моему лбу, и его дыхание тоже сбилось, и почему-то это оказалось самым неприличным во всей сцене.

– Это ничего не значит, – сказала я.

– Абсолютно ничего.

– Мне просто нужно было проверить.

– И как?

– Отвратительно.

– Согласен, – сказал он, и его губы почти касались моих.

Он медленно отвёл с моей щеки мокрую прядь и не убрал руку.

– Я могу посадить тебя в такси, – хрипло сказал он. – Или…

Я посмотрела на него. На мокрые ресницы, на рот, на рубец на костяшке у самого моего лица. Я должна была сказать «такси». Я прекрасно знала, что должна сказать «такси».

– Или, – сказала я.

Глава 5

ДЖУЛИАН

За десять дней до свадьбы

В такси она села к окну и отодвинулась так далеко, как позволяла ширина заднего сиденья. Я сел у другой двери. Между нами осталось сантиметров сорок кожаной обивки и вся наша общая история, и я смотрел на эти сорок сантиметров, как на контракт, который не успел прочитать.

На Бруклинском мосту я предупредил водителя, что адрес может поменяться.

– Мы можем развернуться, – сказал я ей. – Я отвезу тебя домой и поеду к себе. Завтра сделаешь вид, что ничего не было.

Эвелин смотрела в окно, на огни Манхэттена за мокрыми тросами моста. Её отражение дрожало в стекле. Дождь испортил ей причёску, волосы закрутились от влаги мелкими кольцами у висков, помада почти стёрлась. Я знал, где она стёрлась. Сидеть спокойно с этим знанием было трудно.

– Ты даёшь мне шанс сбежать, – сказала она, не поворачиваясь.

– Я даю тебе шанс передумать.

– Почему?

– Потому что ты выпила, у тебя была паршивая неделя, и я последний человек, которому ты должна доверять. Не хочу,

чтобы утром ты могла сказать, что я этим воспользовался.

Она повернулась. В полумраке салона её глаза казались почти синими.

– Я выпила один бокал, Эшфорд. И я прекрасно знаю, кто ты. Не разворачивай машину.

Водитель, который всё это время делал вид, что слушает радио, едва заметно кивнул и прибавил газу.

В лифте мы не касались друг друга. Я смотрел на цифры этажей, она смотрела на своё отражение в латунной панели и поправляла волосы, как будто это имело значение. Когда двери открылись прямо в прихожую пентхауса, она остановилась на пороге и огляделась с выражением профессионального ужаса.

– Боже, – сказала она. – Это же стеклянная коробка.

– Здесь прекрасный вид.

– Здесь вид, как у рыбы в аквариуме. Сколько уходит на отопление зимой? Эти панели ставили без нормального терморазрыва. Я отсюда вижу конденсат на стыке.

– Ты приехала сюда в одиннадцать ночи после поцелуя под дождём, чтобы прочитать мне лекцию по энергоэффективности?

– Я архитектор. Я не могу это выключить по команде.

– Попробуй, – сказал я.

Она обернулась. Я стоял у двери, всё ещё в мокрой рубашке, и не делал ни шага, потому что хотел, чтобы следующий шаг был её. Она долго смотрела на меня, наклонив го-

лову, той самой оценивающей манерой, которую я ненавидел в школе: после неё обычно следовал вопрос, на который у меня не было ответа. Потом подошла и положила ладонь мне на грудь, туда, где мокрая ткань прилипла к коже. Пальцы у неё были холодные.

– У тебя сердце колотится, – сказала она.

– Я живой. Это нормально.

– Боишься меня?

– Есть причины.

– Миллион, – сказала Эвелин и расстегнула верхнюю пуговицу на моей рубашке.

Я поймал её руку. Не чтобы остановить, а чтобы она посмотрела на меня.

– Уверена? – спросил я.

– Ты спрашиваешь в третий раз.

– Спрошу ещё сто, если надо.

Она чуть улыбнулась, впервые за вечер по-настоящему, без яда, и эта улыбка оказалась опаснее всего остального.

– А ты уверен?

Я поцеловал её. На этот раз без злости и без дождя, медленно, будто у нас было всё время мира, хотя на самом деле у нас не было даже правил.

Она ответила сразу, словно решила это ещё на мосту, а может, гораздо раньше. Губы у неё были тёплые. Пальцы на моей груди оставались холодными, и сквозь мокрую ткань я чувствовал каждый отдельно, как пять маленьких ледяных

печатей.

Она расстегнула вторую пуговицу. Третья, разбухшая от дождя, не поддалась, и Эвелин тихо выругалась мне в губы.

– Кто шьёт рубашки с такими петлями?

– Итальянцы.

– За это надо судить.

Я засмеялся, и она этим воспользовалась: дёрнула ткань, пуговица щёлкнула о бетонный пол и укатилась под диван. Тяжёлая мокрая рубашка сползла с плеч, и холодный воздух лёг на спину. За стеклом ползли капли, огни Гудзона дрожали в чёрной воде, а на стыке панелей, на который она двадцать минут назад указала мне с профессиональным ужасом, собирался конденсат. Я подумал, что утром она обязательно скажет об этом ещё раз. Мысль оказалась неожиданно приятной.

Я провёл ладонями по её бокам вверх, под свитер. Кожа там была горячая, совсем не такая, как пальцы, и Эвелин вздрогнула, когда мои мокрые руки коснулись её рёбер. Она подняла руки, позволяя снять свитер, и полувыбившиеся из заколки волосы рассыпались по плечам. Под свитером оказалось простое тёмное бельё, без кружева и без расчёта на зрителя, и у меня почему-то пересохло во рту.

Я помнил её в двенадцать: острые локти, огромный рюкзак и привычку сутулиться на пороге класса, будто она хотела стать меньше. Помнил в шестнадцать, с короткой стрижкой и задранным подбородком. Ту девочку я знал наизусть.

Эту женщину не знал совсем. Она стояла передо мной в полумраке, не прикрываясь, смотрела прямо, и в её взгляде не было ни страха, ни просьбы. Только вопрос, который она не собиралась задавать вслух.

Застёжка поддалась с первого раза. Когда ткань соскользнула, Эвелин коротко и тихо выдохнула, и я накрыл её грудь ладонями, а потом губами. Она запустила пальцы мне в волосы, сначала осторожно, потом сжала сильнее.

– Не сдерживайся, – сказала она. – Я не фарфоровая, Эшфорд.

Я и не собирался. Я собирался сделать всё быстро и зло, как начался этот вечер: с поцелуя под дождём, больше похожего на драку. Но тело решило иначе. Руки двигались медленно, словно проверяли, не исчезнет ли она, если надавить сильнее. Я злился на собственные руки и ничего не мог с ними поделать.

По дороге в спальню мы раздевали друг друга, путаясь в пряжках и молниях, и оставляли одежду на сером бетоне, как следы. Свет я не включил. Город за стеклянной стеной давал достаточно: оранжевое марево, тени капель на её коже, блеск глаз.

Она легла на спину, и я опустился на неё, чувствуя её всю, от коленей до плеч. Кожа к коже оказалась горячее, чем я ожидал. Я целовал её шею, ключицы, маленькую впадинку под ухом, где частил пульс, и зачем-то считал удары. Её ногти прочертили мне спину, легко, почти предупреждающе.

Я спустился ниже. Поцеловал живот, косточку бедра, внутреннюю сторону колена и задержался, давая ей время сказать «нет». Она не сказала. Приподнялась на локтях, посмотрела на меня сверху вниз долгим тёмным взглядом и откинулась на подушку.

Ни к одному экзамену я не готовился так внимательно. Я слушал её дыхание, как слушают сложную партитуру, и ловил каждую перемену: где она замирает, где выгибается, где сильнее сжимает простыню. Она не стонала. Эвелин Паркер, разумеется, не стонала. Закусив губу, она упрямо дышала сквозь зубы, будто даже здесь не хотела давать мне повода для победы. А потом всё-таки дала. Её бёдра дрогнули, она выгнулась и сдавленно выдохнула моё имя. Не фамилию. Имя. И по её телу прошла волна, долгая и неровная.

Я поднялся над ней. Растрёпанная, тяжело дыша, она смотрела на меня снизу, и лицо у неё было совершенно незнакомым. Мягким. Я никогда не видел её лицо мягким: ни в двенадцать, ни в шестнадцать, ни час назад под дождём.

Она сама притянула меня к себе, обхватила ногами и направила. Я вошёл медленно, до конца, и мы оба замерли. Так замирают люди, которые одновременно поняли, что совершают ошибку, и одновременно решили её не исправлять.

– Дыши, Эшфорд, – сказала она мне в шею.

Я и не заметил, что перестал.

Я двигался неторопливо и глубоко, и каждый раз, когда возвращался, она тихо выдыхала мне в ключицу. Это дли-

лось долго. А может, и нет: где-то между её выдохами я перестал понимать время.

– Быстрее, – выдохнула она.

Я подчинился. Кровать тихо скрипнула, и в любой другой вечер я бы непременно пошутил про итальянцев. Она поднималась мне навстречу и так вцепилась в плечи, что утром там наверняка останутся следы. Мне было всё равно. Я держал её за бедро и чувствовал, как она снова начинает дрожать, раньше, чем я успел к этому подготовиться. Она сжалась вокруг меня, коротко всхлипнула, вонзив ногти мне в спину, и только тогда я позволил себе кончить, с низким выдохом ей в волосы, которые пахли дождём и цитрусом.

Несколько секунд мы лежали не двигаясь, сердце к сердцу. Потом она мягко упёрлась ладонью мне в грудь, и я откатился в сторону.

Мы долго молчали в темноте, не касаясь друг друга. Город за окном тускло светился, по стеклу ползли капли, и я слушал, как она дышит. Сначала часто, потом всё спокойнее. Я ждал, что она встанет, начнёт искать одежду, вызовет такси и уйдёт без единого слова, и был к этому готов. Вместо этого она повернулась на бок, ко мне спиной, и придвинулась чуть ближе, так что её лопатки почти касались моей груди. Почти. Я не стал сокращать это «почти».

Волосы рассыпались по подушке, и в темноте я видел линию её шеи. Открытую, тонкую, с маленькой родинкой под самой линией волос. Я помнил эту шею. Не потому, что был

влюблён в неё в шестнадцать: этого не было. Я помнил её, потому что пять лет она была моей мишенью, а мишень изучаешь внимательнее, чем друзей. Я помнил, как она пришла в школу с короткой стрижкой после третьей жвачки. Открытая шея, подбородок слишком высоко, ни одной слезы. Брэдли Коул сказал тогда, что она похожа на мальчика, все засмеялись, и я засмеялся тоже. Я запомнил это, потому что внутри у меня что-то неприятно сжалось, я разозлился на это сжатие и через неделю придумал для неё что-то новое. Сейчас, лёжа рядом с ней в темноте, я не мог вспомнить, что именно.

Это не делало из школьной истории роман. Это делало из меня человека, который пять лет причинял боль девочке и не потрудился даже запомнить как.

– Ты не спишь, – сказала Эвелин, не оборачиваясь.

– Нет.

– Я тоже.

Я видел, как поднимается и опускается её плечо.

– Зачем ты это делал? – тихо спросила она. – В школе.

Я открыл рот, и она тут же сказала:

– Нет. Не отвечай. Не хочу, чтобы ты сейчас врал. Ты соврёшь, потому что лежишь голый и тебе неловко.

– Мне не неловко.

– Тебе ужасно неловко, Эшфорд.

Я не ответил, потому что она была права. Через какое-то время её дыхание стало глубоким и ровным, и она заснула,

всё так же почти касаясь меня спиной. Я лежал до четырёх утра и смотрел, как в доме напротив гаснут окна, одно за другим.

Утром я проснулся раньше неё, что неудивительно, потому что почти не спал. Она лежала на животе, обняв подушку, и прядь волос на её лице вздрагивала от каждого выдоха. Над бровью белел крошечный шрам, тонкий, как царапина от карандаша. Я никогда его не видел, хотя пять лет смотрел на это лицо через всю столовую. Мне захотелось провести по нему пальцем, и желание было настолько отчётливым и настолько неуместным, что я встал и ушёл на кухню.

Сварил кофе. Подумал и сварил второй. Когда я вернулся с двумя чашками, она уже сидела на краю кровати, завернувшись в простыню, и искала глазами одежду с видом человека, планирующего эвакуацию.

– Кофе, – сказал я и протянул ей чашку.

Она взяла, понюхала и поморщилась.

– У тебя есть корица?

– Корица?

– Я пью с корицей.

– У меня есть соль, перец и японская приправа, которую подарил партнёр из Осаки. На вкус как водоросли. Вполне заменит корицу.

Она рассмеялась и прижала ладонь ко рту, и я понял, что запоминаю это. Как она смеётся, прячась за пальцами. Как утренний свет ложится ей на плечо, где осталась красная

полоса от подушки. Как она держит чашку обеими руками, грея пальцы, хотя в квартире тепло.

– В следующий раз куплю, – сказал я.

И мы оба замерли.

Слова повисли в воздухе между кроватью и окном, и я видел, как она их услышала: пальцы сжались на чашке. Я тоже их услышал. Мозг произнёс фразу быстрее, чем проверил формулировку. В бизнесе за такие ошибки платят миллионами.

– Следующего раза не будет, – ровно сказала Эвелин.

– Конечно.

Она поставила чашку на тумбочку, так и не отпив, встала, придерживая простыню, и пошла собирать одежду, разбросанную от двери до кровати. Я отвернулся к окну, давая ей одеться, и это было самое сложное, что я сделал за неделю, включая совет директоров. Над Гудзоном висел белый утренний туман. На стыке панелей действительно собрался конденсат. Чёрт бы её побрал.

– Я тебя отвезу.

– Я поеду на метро.

– Отсюда до Бруклина сорок минут на метро.

– Отлично. Мне надо подумать.

Она остановилась у лифта, уже одетая, с туфлями в руке, и обернулась. Вчерашняя одежда, мятая, в пятнах от дождя, волосы собраны в небрежный узел. Мне захотелось нажать на кнопку остановки лифта и задержать её хотя бы на пять

минут.

– Джулиан.

Она впервые за все годы назвала меня по имени без яда в голосе. Я даже не сразу понял, что это моё имя.

– Ничего не было, – сказала она. – Хорошо?

– Ничего не было, – повторил я.

Двери лифта закрылись.

Весь день я работал, как работают люди, которые очень стараются не думать о другом. Провёл два совещания, подписал смету на перепланировку первого этажа в Лонг-Айленд-Сити, отказался от интервью деловому журналу и позвонил Кэролайн Уитмор. Шарлотта была права: голосом это оказалось сложнее, чем цветами. Кэролайн выслушала, помолчала и сказала, что я самовлюблённый осёл, но извинение принимается, потому что её лабрадор меня любит и она не хочет его расстраивать. Я сказал, что лабрадор умнее нас обоих. Она согласилась.

В четыре позвонила Шарлотта.

– Ты нашёл её вчера? – спросила она без предисловий.

– Нашёл.

– И?

– Она была в баре с подругой. Какой-то тип к ней приставал, я помог ему вспомнить, что у него есть дела. Она меня отчитала. Я поехал домой.

Я никогда не врал сестре о важных вещах. О мелочах – постоянно, это наша семейная игра, но не о важном. Похо-

же, Эвелин уже относилась к важному. Это открытие мне не понравилось.

– Почему у тебя такой голос? – подозрительно спросила Шарлотта.

– Какой?

– Как будто ты не выспался. Подцепил кого-то?

– Обычный у меня голос.

– Не-а. Ты чем-то доволен. Последний раз ты был доволен, когда купил яхту, на которой потом ни разу не плавал.

– Зачем ты звонишь?

– Чтобы сказать: если ты вчера сказал Эви хоть одну гадость, я перережу тормоза на твоей машине. На той серебристой, которая стоит целое состояние.

– Я не сказал ей ни одной гадости.

– Ладно. Хотя это странно, – сказала моя сестра и повесила трубку.

Эвелин пришла в половине девятого вечера. Консьерж позвонил снизу и спросил, пропустить ли мисс Паркер, и я ответил «да» раньше, чем он договорил фамилию.

Она вошла совсем другой. Собранной, деловой, в тёмных брюках и светлом свитере, с гладко зачёсанным хвостом и прозрачной пластиковой папкой в руке. Не та женщина, что утром сидела на краю моей кровати, завернувшись в простыню, и смеялась над японской приправой. Ту женщину заперли где-то очень глубоко, а передо мной стоял лицензированный архитектор штата Нью-Йорк, готовый защищать проект

перед комиссией. Она прошла к кухонному острову, положила папку на мрамор и подвинула ко мне.

– Я согласна, – сказала она. – На условиях.

Я открыл папку. Три листа мелким шрифтом, пронумерованные пункты и подпункты. Заголовок жирным: «Правила совместного проживания и публичного поведения сторон». Я поднял на неё глаза.

– Ты это сама написала?

– Сорок минут в метро, – напомнила Эвелин. – Я быстро печатаю.

Я опустил взгляд на первую страницу. Пункт первый был короче остальных. Она подчеркнула его дважды.

«1. События ночи с 11 на 12 сентября не являются частью соглашения и не повторяются».

Я перечитал его и поднял бровь. Эвелин стояла по ту сторону острова, скрестив руки на груди, и выдерживала мой взгляд с безупречно непроницаемым лицом. Только кончики ушей у неё покраснели.

– Это не обсуждается, – сказала она.

Глава 6

ЭВЕЛИН

За девять дней до свадьбы

Юриста Джулиана звали Сэмюэл Окафор, и он смотрел на нас так, как, наверное, патологоанатом смотрел бы на двух пациентов, которые пришли своими ногами и записались на вскрытие.

– Давайте ещё раз, – сказал он, сложив пальцы домиком над полированным столом. – Вы хотите заключить законный брак через девять дней. Без брачного контракта в классическом смысле, потому что на его нормальную подготовку нужно больше времени, чем у нас есть. Но с частным соглашением о расходах, жилье, конфиденциальности и… – он заглянул в мои распечатки, – «ожидаемом сроке совместного проживания в один календарный год».

– Да, – сказали мы с Джулианом одновременно и посмотрели друг на друга с одинаковым раздражением.

Мы сидели в переговорной на тридцатом этаже в Мидтауне, где всё было серым, стеклянным и дорогим, а кофе подавали в таких тонких чашках, что я боялась сломать свою одним взглядом. Рядом со мной сидела Ребекка Шоу, мой собственный юрист, невысокая женщина в очках, которая когда-то помогала нашему бюро с арендой. Джулиан предложил оплатить её работу, и я так на него посмотрела, что он

сразу заговорил о погоде. Ребекка стоила мне половины месячной зарплаты, и я скорее продала бы почку, чем позволила ему платить человеку, который должен защищать меня от него же.

– Тогда проясню сразу, – продолжил Окафор. – Никакое частное соглашение не может запретить вам развестись раньше. Если через месяц один из вас захочет расторгнуть брак, он подаст на развод, и никакой «год» ему не помешает. Это ориентир, а не наручники.

– Меня это устраивает, – сказала я.

– Меня тоже, – сказал Джулиан.

– Далее. – Окафор снова заглянул в мои листы и едва заметно приподнял бровь. – Здесь, мисс Паркер, есть несколько пунктов, которые я при всём уважении не могу внести ни в какой юридический документ.

Ребекка кашлянула в кулак. У меня загорелись уши.

– Это личные правила, – сказала я. – Я принесла их для полноты картины.

– Пункт первый, – невозмутимо прочитал Окафор. – «События ночи с одиннадцатого на двенадцатое сентября не являются частью соглашения и не повторяются». Пункт четвёртый. «Никакого секса». Пункт пятый. «Никаких чувств».

Джулиан издал тихий звук, похожий на кашель человека, который изо всех сил сдерживает смех. Я, не поворачиваясь, наступила ему на ногу. Каблуком.

– Ни один суд в Нью-Йорке не станет обеспечивать испол-

нение пункта «никаких чувств», – с бесконечным терпением сказал Окафор. – И я бы не включал в договор ничего, что касается интимной жизни сторон. Это ваше личное дело. Если хотите вести этот список для себя, держите его на холодильнике под магнитом.

– У него на холодильнике висит фотография, где его облили шампанским, – сообщила я. – Места нет.

– Ради такого я её сниму, – сказал Джулиан.

Остальное заняло два часа и было скучным, как любая серьёзная работа. Раздельные счета. Мои доходы – мои, его – его. Он покрывает расходы на общее жильё и всё, что связано с публичной частью. Я сохраняю свою квартиру и сама за неё плачу. Никто не вмешивается в работу другого. Никто не рассказывает о соглашении третьим лицам. Ребекка вычитывала каждую строчку и дважды заставила Окафора переписать формулировки, и я смотрела на неё с нежностью, на которую способна только женщина, заплатившая за эту нежность половину зарплаты.

После обеда мы поехали в Бюро регистрации браков на Уорт-стрит. Заявку заполнили онлайн накануне вечером, сидя в разных концах города и переписываясь сообщениями, больше похожими на перестрелку. «Место рождения отца?» «Тебе какая разница?» «Тут графа, Паркер». «Бруклин. Методистская больница». «Серьёзно?» «А что?» «Ничего. Мой тоже. Только Пресвитерианская». Теперь мы стояли в очереди среди счастливых пар: девушка в тюлевой фате по-

верх джинсов, двое пожилых мужчин в одинаковых галстуках, держащиеся за руки, очень молодая пара с младенцем в слинге. Все улыбались. Мы стояли рядом, как два свидетеля по одному уголовному делу.

– Улыбнись, – тихо сказал Джулиан, не поворачивая головы. – На нас смотрит охранник.

– Охранник смотрит на всех.

– Ты стоишь так, будто тебя привели под конвоем.

– Меня и привели под конвоем.

Он вздохнул, взял мою руку и переплёл пальцы с моими. Тёплая ладонь, шершавый рубец под моим большим пальцем, и всё моё тело вспомнило позапрошлую ночь прежде, чем я успела ему запретить. Его руки на моей коже. Моё имя в темноте, произнесённое совсем другим голосом, без насмешки. Как я заснула, почти касаясь его спиной, и проснулась под одеялом, хотя засыпала без него. Я выдернула пальцы.

– Правило седьмое, – прошипела я. – Физический контакт только на публике.

– Мы на публике.

Охранник жевал жвачку и взирал на нас с глубочайшим скепсисом. Я снова взяла Джулиана за руку. Он чуть сжал мои пальцы и ничего не сказал, но по тому, как расслабились его плечи, я видела, что он доволен. Мне захотелось наступить ему на вторую ногу.

Регистраторша оказалась полной женщиной с розовыми

ногтями и усталыми добрыми глазами. Она проверила документы и спросила, были ли мы раньше в браке. Мы оба ответили «нет», и я на секунду подумала, что неделю назад стояла бы здесь с другим человеком. Сбор составлял тридцать пять долларов. Джулиан полез за бумажником, но я быстрее сунула в окошко свою карту.

– Я заплачу.

– Это всего тридцать пять долларов, Паркер.

– Значит, тебе ничего не стоит позволить мне их заплатить.

Регистраторша улыбнулась нам поверх очков.

На улице Джулиан глянул в телефон и выругался.

– Мне нужно в офис. Поставщик из Нью-Джерси решил, что сейчас лучшее время для кризиса.

– Иди.

– Вечером я приеду к тебе. Нам нужно дописать твои правила.

– Они не мои. Они наши.

– Ты их написала, значит, твои.

– А ты их подпишешь.

– Только после того, как обсудим пункт про ванную. Я не собираюсь принимать душ строго с шести сорока до шести пятидесяти пяти, Паркер. Это перебор даже для тебя.

Он ушёл, а я ещё минуту стояла на ступеньках со сложенной лицензией в руках и думала, что у меня теперь есть официальный документ штата Нью-Йорк, разрешающий мне

выйти замуж за Джулиана Эшфорда. Где-то в параллельной вселенной тринадцатилетняя я вымывала из волос овсянку и не подозревала, что её будущее только что заплатило за это тридцать пять долларов.

Он приехал в девять, с пакетом из магазина на углу и бутылкой вина, которую поставил на стол так, будто она в чём-то перед ним провинилась. Моя квартира сразу стала меньше. Джулиан занял всё пространство между кухонной стойкой и диваном, задел головой абажур и с интересом разглядывал полки: мои макеты, старые чертежи, бабушкины фотографии и коллекцию дурацких кружек из каждого города, где я вела реставрационный надзор.

– Ты пьёшь из кружки с надписью «Я пережила Скрэнтон»?

– Я пью из того, что под руку попадётся.

Схему рассадки я сняла со стены ещё утром. Платье в чехле переселилось в шкаф. Карточки я сложила в коробку и не нашла сил выбросить. Мы сели друг напротив друга, разложили между собой листы с правилами и следующие сорок минут торговались, как на базаре в Марракеше, где у обеих сторон много свободного времени и мало совести.

– Пункт три, – сказал он. – «Отдельные спальни». Принято. Пункт шесть. «Никто не трогает чужую еду в холодильнике без разрешения». А если еда вот-вот испортится?

– Тогда ты пишешь мне сообщение.

– Я должен писать тебе сообщения о йогурте?

– Если это мой йогурт.

– Пункт семь. «Физический контакт допускается только на публике и только в разумных пределах». Определи разумные пределы.

– Держаться за руки. Обнимать за талию. Поцелуй в щёку.

– А на свадьбе?

Я подняла глаза. Он смотрел на меня спокойно и слишком внимательно, подперев подбородок рукой.

– На свадьбе нормальный, – сказала я. – Короткий.

– Насколько короткий?

– Не дольше трёх секунд.

– Ты собираешься засекать?

– Не беси.

– Будешь стоять у алтаря и смотреть на часы, пока я тебя целую?

– Буду считать в уме.

– Считаешь ты хорошо, – сказал он. – Ты обошла меня в рейтинге по математике в одиннадцатом классе на ноль целых четыре десятых балла.

– Шесть.

– Четыре. Я пересчитывал.

– Ты пересчитывал мой рейтинг?

– Свой. Твой стоял сверху и раздражал.

Я засмеялась, по привычке прикрыв рот ладонью, и он на секунду замер, глядя на мою руку, а потом уткнулся в листы. Щёки у него чуть порозовели, и я почувствовала мелкое зло-

радное удовлетворение, которое тут же переросло во что-то гораздо менее уместное.

– Пункт четыре, – прочитал он, не поднимая глаз. – «Никакого секса». Дублирует пункт первый.

– Пункт первый про ту ночь. Пункт четвёртый на будущее.

– Ты так боишься повторения, что прописала его дважды?

– Я не боюсь. Я дублирую несущие конструкции. Это называется надёжность.

– Пункт пять, – продолжил он совсем ровным голосом. – «Никаких чувств». Как ты себе представляешь исполнение?

– Очень просто. Ты меня достаёшь, я тебя терплю. Продолжаем в том же духе ещё год.

– Это я умею, – сказал он. – Это я умею лучше всего.

– Знаю.

Мы замолчали. Между нами лежали листы с правилами, бутылка вина, к которой никто не притронулся, и пакет с итальянскими сырами. Он сидел так близко, что я видела маленькую царапину у него на запястье, наверное от часов, и чувствовала его запах. Правило номер четыре писала очень разумная женщина. Ей просто не пришло в голову, что сидеть с ним придётся за одним столом в квартире площадью сорок два квадратных метра.

– Почему ты так ненавидишь мою квартиру? – вдруг спросил он.

– Какую квартиру?

– Пентхаус. Ты смотрела на него так, будто я построил его

на костях младенцев.

– Не на костях младенцев. На месте склада тысяча девятьсот десятого года в Говануse, который твоя компания снесла, хотя его можно было сохранить. Там были чугунные колонны, Эшфорд. Оригинальные. Я писала о нём курсовую на третьем курсе.

– Пентхаус не в Говануse.

– Но ты в той же компании.

– Склад был аварийным.

– Склад был запущенным. Это разные вещи. Аварийным его сделали отчёты, которые были вам выгодны.

– Ты читала эти отчёты?

– Три раза.

Он открыл рот, чтобы ответить, и в этот момент в замке повернулся ключ.

Шарлотта всегда приходила ко мне без звонка. Она называла это «правом лучшей подруги» и «профилактикой твоих глупостей», и я давно смирилась. Она вошла с коробкой пончиков, бодро объявила: «Эви, я принесла сахар против депрессии», увидела брата за моим столом и остановилась. Джулиан медленно поднялся. Я осталась сидеть, потому что у меня отказали ноги.

– Привет, – с расстановкой сказала Шарлотта. – Джулиан. В квартире Эви. В девять вечера. С вином. Я сплю?

– Мы обсуждаем проект, – сказал Джулиан.

– Какой проект?

– Реставрацию.

– Реставрацию чего?

– Моей репутации, – сказал он, и я поняла, что сейчас его убью.

Шарлотта подошла к столу, положила пончики, взяла верхний лист и пробежала его глазами. Я видела, как меняется её лицо с каждым пунктом. На первом у неё поднялись брови. На четвёртом приоткрылся рот. На пятом она медленно подняла голову и посмотрела сначала на меня, потом на брата.

– «Никаких чувств», – прочитала она вслух. – «Публичные поцелуи не дольше трёх секунд». «Совместное проживание на срок одного календарного года». Это… Это что?

– Шарлотта, – начала я.

– Вы женитесь, – проговорила она. – Вы. Друг на друге?

– Это сложно объяснить, – сказал Джулиан.

– Попробуй. Я руковожу программой для подростков. Я понимаю очень сложные вещи, если их объяснять медленно и с картинками.

Объяснять пришлось долго. Шарлотта не перебивала. Она ходила по моей крошечной кухне, три шага туда и три обратно, и с каждым разворотом мрачнела. Когда мы закончили, она остановилась у окна и долго смотрела на улицу.

– Вы оба идиоты, – сказала она наконец. – Ты, – палец ткнул в брата, – особенно. Ты пять лет делал из её жизни ад, потом десять лет делал вид, что ничего не было, а теперь

предлагаешь ей выйти за тебя, чтобы мама отстала от тебя с Кэролайн? Совсем рехнулся?

– Я предложил ей сделку, которая выгодна обоим.

– Ты предложил ей сделку, на которую она согласилась, потому что у неё больна бабушка, а жених спит с коллегой! – Шарлотта развернулась ко мне. – А ты! Ты даже мне не сказала! Мне!

– Ты бы меня отговорила.

– Конечно, я бы тебя отговорила! Это безумие! Господи, Джулиан? Из всех людей на планете?

– Именно поэтому, – тихо сказала я.

Злость на лице Шарлотты сменилась чем-то усталым и очень грустным. Она села на подлокотник дивана и потёрла лицо ладонями.

– Лора пять лет кормила меня лазаньей по пятницам, – глухо сказала она. – Пять лет, Эви. Томас чинил мне велосипед. Бабушка Мэгги научила меня жульничать в покер. А теперь я буду сидеть на твоей свадьбе и врать им всем в лицо.

– Ты не обязана. Ты можешь просто молчать.

– Молчать буду, – согласилась Шарлотта. – Но врать за вас не стану. Я не профессиональная лгунья, и не делайте из меня такую. Если меня спросят прямо, я уйду в туалет.

– Сойдёт, – сказал Джулиан.

– А ты вообще заткнись. – Она развернулась к нему. – Если мама узнает, что я знала, меня вычеркнут из завещания.

– Тебя давно вычеркнули.

– Меня вписали обратно, когда ты купил яхту.

– Потому что ты наябедничала.

Они уставились друг на друга, и у обоих одновременно дёрнулся уголок рта. Шарлотта сдалась первой, фыркнула и швырнула в брата пончиком, а он поймал его одной рукой, не глядя. Я поняла, что она нас не выдаст. Что она будет злиться ещё неделю, а потом придёт со вкусняшками и станет нашим самым опасным и самым преданным союзником.

Когда они ушли, вдвоём, препираясь на лестнице о том, кто из них хуже паркуется, я сделала последнее, что откладывала весь день. Позвонила маме.

Я рассказала легенду, которую мы с Джулианом согласовали утром у Окафора. Мы много лет пересекались на днях рождения Шарлотты. Мы оба повзрослели. После того как Натан всё разрушил, мы начали разговаривать по-другому и неожиданно поняли друг друга. Звучало это так неубедительно, что у меня горело лицо, хотя мама меня не видела.

Мама долго молчала. Тишина в трубке была плотная, как перед грозой.

– Эшфорд? – переспросила мама наконец, и голос у неё был совершенно спокойный, что было страшнее любого крика. – Джулиан Эшфорд? Тот самый?

– Мам, ему тридцать один.

– Тот мальчик, который засунул тебе в рюкзак мёртвую птицу? Который изводил тебя все школьные годы? Который на церемонии…

– Мам.

– Томас! – крикнула мама куда-то в сторону, и я услышала, как папа что-то спрашивает. – Томас, иди сюда. Нет, сейчас. Твоя дочь выходит замуж за Эшфорда.

Где-то в глубине дома папа что-то уронил. Судя по звуку, кастрюлю.

Я положила телефон на стол, включила громкую связь и слушала, как мама перебирает все возможные причины, по которым её единственная дочь сошла с ума, а папа время от времени вставляет короткие вопросы. Минут через двадцать мама выдохлась, и трубку взял папа.

– Эви, – ровно сказал он. – В воскресенье ужин. Пусть приходит.

– Хорошо, пап.

– И пусть приходит голодным, – добавил папа. – Ему понадобятся силы.

Я написала Джулиану: «В воскресенье ужин у моих родителей. Бабушка тоже будет. Папа велел передать, чтобы ты приходил голодным».

Ответ пришёл через минуту.

«Это угроза?»

Я вспомнила кастрюлю, мамин спокойный голос и то, как папа однажды двадцать минут молча смотрел на директора нашей школы, пока тот не вспотел, и напечатала:

«Это прогноз».

Глава 7

ЭВЕЛИН

За семь дней до свадьбы

Вивиан Эшфорд поцеловала меня в обе щёки, едва коснувшись кожи, и от неё пахло ирисом.

– Эвелин, моя дорогая, – сказала она, держа меня за обе руки и разглядывая так, будто я была картиной, которую ей предлагали на аукционе. – Наконец-то. Джулиан скрывал тебя так долго.

– Он не скрывал, – сказала я. – Он просто не мог меня найти. Я всё время сидела в библиотеке.

Вивиан засмеялась, легко и красиво, и несколько женщин за соседними столиками обернулись на этот смех. Мы обедали в её клубе на Парк-авеню, в зале с дубовыми панелями, хрустальными люстрами и официантами, которые двигались бесшумно, как в немом кино. Утром Вивиан прислала Джулиану сообщение из четырёх слов: «Обед. Час. Клуб. Обязательно». Он показал его мне и сказал, что у его матери талант составлять приглашения, похожие на повестки в суд.

– Шарлотта всегда так тепло о тебе отзывалась, – продолжила Вивиан, расправляя на коленях салфетку. – Девочка из Бруклина, которая выиграла стипендию. Это так трогательно. Мы с Ричардом тогда сидели в попечительском совете школы, и я помню, как радовалась, что у нас есть такая про-

грамма. По-моему, это прекрасно, когда талантливые дети из простых семей получают шанс.

Она произнесла это тепло, с улыбкой, глядя мне прямо в глаза. Ни одного слова нельзя было поставить ей в вину. Джулиан рядом со мной застыл, и под столом его колено на миг коснулось моего и сразу отодвинулось.

– Мне тоже кажется, что это прекрасно, – сказала я. – Особенно когда дети из простых семей потом обходят детей из непростых.

Вивиан улыбнулась ещё шире.

– Чудесно. Джулиан, она чудесная. Я так рада, что ты наконец выбрал кого-то достойного.

Весь обед она была безупречна. Расспрашивала о работе и запомнила название бюро. Похвалила мою цепочку. Спросила о бабушкином здоровье таким сочувственным тоном, что у меня защипало в носу, и обещала прислать телефон своего кардиолога, «лучшего в городе». Она ни разу не сказала ничего, к чему можно было придраться. И всё же к десерту я сидела с прямой спиной и сжатыми коленями, как на экзамене, и никак не могла расслабить плечи.

Джулиан почти не говорил. Ел мало, отвечал матери односложно и дважды посмотрел на часы. Когда мы вышли на Парк-авеню, под мягкое сентябрьское солнце, он шумно выдохнул.

– Она была очень милой, – осторожно заметила я.

– Да, – буркнул Джулиан. – Чрезвычайно.

Он открыл передо мной дверцу машины и больше ничего не добавил. Я решила, что ему просто неприятно, как быстро и охотно мать приняла его выбор: это лишало его бунт всякого смысла. Объяснение было логичным. Я им удовлетворилась.

По дороге в Бруклин он нервничал, и это было так непривычно, что я всю дорогу наблюдала за ним краем глаза. Он дважды перестраивался не в тот ряд, чуть не проскочил поворот на Оушен-Паркуэй, а когда я спросила, что мы везём моим родителям, ответил, что вино и цветы, и тут же спросил, не нужно ли было взять что-то ещё.

– Например?

– Не знаю. Твоя мама переплетает книги. Может, какое-нибудь старое издание?

– Если ты принесёшь моей маме редкую книгу, она решит, что ты пытаешься её подкупить.

Телефон в сумке пискнул. Шарлотта.

«Если мама спросит меня, когда вы начали встречаться, я скажу правду: понятия не имею. Удачи. Скажи Томасу, что я по нему скучаю. И что люблю его больше, чем вас обоих, вместе взятых».

Я прочитала вслух. Джулиан фыркнул.

– Она любит твоего отца больше, чем меня, с двенадцати лет, – сказал он. – Не новость.

Дом моих родителей выглядел как всегда: покосившееся крыльцо, засохшие хризантемы в горшке, папин велосипед,

пристёгнутый к перилам с девяносто восьмого года. Джулиан остановился у нижней ступеньки и посмотрел на дверь, как, наверное, смотрел на совет директоров. Я впервые увидела, что пальцы у него чуть дрожат на обёртке букета.

– Ты ещё можешь развернуться.

– Нет, не могу, – сказал он и поднялся по ступенькам.

Мама открыла дверь и посмотрела на него снизу вверх. Она доставала ему до плеча, но в этот момент казалась выше. Руки она не протянула. Цветы взяла, потому что была воспитанной женщиной, посмотрела на них, потом на него.

– Добрый вечер, миссис Паркер, – сказал Джулиан.

– Посмотрим, насколько он добрый, – ответила мама и ушла на кухню искать вазу.

Папа пожал Джулиану руку. Коротко, крепко, и я увидела, как Джулиан чуть вздрогнул. Папа ничего не сказал, только кивнул в сторону гостиной, где в старом кресле у торшера сидела бабушка в домашнем кардигане, с картами на коленях.

– Так вот ты какой, – сказала бабушка, разглядывая Джулиана поверх очков. – Высокий. Это хорошо. На свадебных фотографиях высокие мужчины выглядят солиднее. Натан был ниже Эви на каблуках.

– Ба.

– Что «ба»? Констатирую факт. – Бабушка прищурилась. – В карты играешь?

– Немного, мэм.

– Это плохо. Кто говорит «немного», обычно жульничает. Сыграем после свадьбы. Мне нужно время подготовиться.

Ужин был мучительным. Мама приготовила жаркое, которое обычно готовила на Рождество, и я не понимала, знак ли это уважения или способ показать, что ничего особенного не происходит. Она почти не говорила, только накладывала всем еду и ставила тарелки чуть громче, чем нужно. Джулиан сидел рядом со мной, ел медленно, хвалил жаркое и отвечал на бабушкины вопросы: сколько у него сотрудников, где он живёт и правда ли, что в его квартире стеклянные стены, «как в аквариуме». Бабушка сказала, что всегда хотела посмотреть, как живут рыбки, и пообещала зайти.

Под столом его колено снова коснулось моего. На этот раз он не отодвинулся. Я тоже. Это нужно для легенды, говорила я себе, хотя под столом нас никто не видел.

После жаркого папа отложил вилку. Очень аккуратно, параллельно ножу, и за столом все замолчали, даже бабушка, которая как раз собиралась рассказать, как в шестьдесят восьмом её чуть не арестовали на демонстрации.

– Джулиан, – сказал папа. – Я хочу задать тебе несколько вопросов.

– Конечно, сэр.

– Мёртвый голубь в её рюкзаке.

Джулиан не отвёл глаз.

– Это был я.

– Тарелка овсянки. В столовой, при всей школе.

– Тоже я.

– Жвачка в волосах.

– Три раза. Все три раза я.

Мама поставила стакан с водой так резко, что вода плеснула через край. Папа даже не посмотрел на неё. Он смотрел на Джулиана тем спокойным, тяжёлым взглядом, от которого когда-то потел директор нашей школы.

– Ты говорил всей школе, что её стипендия из жалости. И что её отец чинит канализацию.

– Да, сэр. Говорил.

– Я действительно чиню канализацию, – сказал папа. – В числе прочего.

– Я знаю, – отозвался Джулиан. – Я говорил это, чтобы сделать ей больно. Мне было неважно, правда это или нет. Я выбрал это, потому что видел, что это работает.

– Это было и про меня тоже, – тихо сказал папа.

Джулиан помолчал.

– Да, – согласился он. – О вас я тогда даже не думал. Простите.

Я сидела неподвижно с бокалом в руке и не помнила, как его взяла. Это было неправильно. Мы так не договаривались. В нашей легенде было «мы повзрослели», «мы обо всём поговорили», «он извинился передо мной». Не было вот этого: Джулиан Эшфорд за маминым рождественским жарким, с прямой спиной и белыми костяшками пальцев, по пунктам перечисляет всё, что делал, и ничего не пытается смягчить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.